

Лопе де Вега. Новеллы

Перевод А. А. Смирнов
Lope De Vega. Novelas
Издание подготовил А. А. Смирнов
Серия "Литературные памятники"
М., "Наука", 1969
Перевод стихов Ю. Б. Корнеева
OCR Бычков М.Н. mailto:bmн@lib.ru

- [Лопе де Вега.](#)
[Новеллы](#)
- [ПРИКЛЮЧЕНИЯ](#)
[ДИАНЫ](#)
- [МУЧЕНИК ЧЕСТИ](#)
- [БЛАГОРАЗУМНАЯ](#)
[МЕСТЬ](#)
- [ГУСМАН](#)
[СМЕЛЫЙ](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
- [ПРИКЛЮЧЕНИЯ](#)
[ДИАНЫ](#)
- [МУЧЕНИК ЧЕСТИ](#)
- [БЛАГОРАЗУМНАЯ](#)
[МЕСТЬ](#)
- [ГУСМАН](#)
[СМЕЛЫЙ](#)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИАНЫ

Не из неблагодарности промедлил я повиновением вашей милости, а из опасения, что не сумею вам угодить. Вы приказали мне написать новеллу {1}, и это явилось для меня большой неожиданностью, ибо хотя и верно то, что "Аркадия" {2} и "Пилигрим" {3} чем-то напоминают произведения этого литературного рода, более распространенного у итальянцев и французов, чем у испанцев, все же они очень отличаются от новеллы и более непритязательны по своей манере. Во времена менее просвещенные, чем наши, хотя и более богатые людьми учеными, новеллы назывались просто рассказами, их пересказывали по памяти, и никогда, сколько мне помнится, я не видел их записанными на бумаге; содержание их было таким же, как в тех книгах, которые выдавались за исторические и назывались на чистом кастильском языке "рыцарскими деяниями", - так, как если бы мы сказали: "Великие подвиги, совершенные доблестными рыцарями". В этих историях испанцы проявили верх изобретательности, ибо по части выдумки испанцев не превзошел ни один народ в мире, как можно видеть во всех этих "Эспландианах", "Фебах", "Пальмеринах", "Лисуарте", "Флорамбелях", "Эсфирамундах" и прославленном "Амадисе", отце всего этого полчища, сочиненном некоей португальской дамой {4}. Боярдо, Ариосто {5} и другие писатели последовали их примеру, правда в стихах; и хотя в Испании не вполне еще забросили этот род сочинений, поскольку окончательно с ним расстаться не намерены, но в то же время существуют теперь у нас и книги новелл как переведенных с итальянского, так

и собственного сочинения, в которых Мигель Сервантес проявил и изящество слога и редкое искусство. Признаюсь, что книги эти чрезвычайно занимательны и могли бы стать назидательными, как некоторые трагические повествования Банделло {6}, но только их должны были бы писать люди ученые или, во всяком случае, весьма искушенные в светских делах, потому что люди эти умеют находить в каждом человеческом заблуждении нечто поучительное и дающее пищу для наставлений.

Я никогда не воображал, что мне придет в голову заняться сочинением новелл, и сейчас желание вашей милости и мой долг повиноваться вам поставили меня в затруднительное положение, но чтобы это не показалось с моей стороны нерадивостью, ибо я изобрел множество сюжетов для моих комедий, - то с позволения тех, кто сочиняет новеллы, я постараюсь услужить вашей милости этим рассказом, о котором могу по крайней мере сказать твердо, что вы не могли его ни от кого слышать и что он не переведен ни с какого другого языка. Итак, я начинаю.

В славном городе Толедо, который по справедливости называют императорским {7}, что подтверждает и его герб, не так давно жили два кабальеро. Были они ровесниками, и связывала их крепкая дружба, которая нередко возникает в ранней молодости у людей со схожими характерами и привычками. Я позволю себе скрыть их подлинные имена, чтобы не задеть чье-либо достоинство описанием различных случайностей и превратностей его судьбы. Скажу поэтому, что одного из них звали Октавио, а другого - Селио.

Октавио был сыном знатной вдовы, и его мать гордилась им, как и дочерью своей Дианой, именем которой названа эта новелла, не меньше, чем Латона гордилась Аполлоном и богиней Луны {8}. Лисена - так звали эту сеньору - щедро оплачивала наряды и развлечения Октавио, но умеренно и осторожно тратила деньги на свою дочь, одевая ее всегда с большой скромностью. Диану это чрезвычайно огорчало: известно ведь, что все девушки мечтают украсить богатыми нарядами свою юную прелесть; однако в этом стремлении они заблуждаются, как и во многих других случаях: чтобы украсить свежие утренние розы, довольно одной лишь росы, но если срезать их, то они будут нуждаться в искусно составленном букете, вид которого очень скоро перестает быть приятным. Скромно наряжая свою дочь, Лисена не делала ошибки: девушка, одетая не так, как ее окружающие, и мечтает о чем-то необычном и привлекает к себе взоры больше, чек полагается.

Диана подчинялась своей матери и строго соблюдала все ее предписания, поэтому никогда - ни во время обедни, ни на празднике - досужие молодые люди ее не разглядывали с любопытством, и ни один человек в городе не мог бы сказать о ней того, что теперь нередко говорят о многих девицах, а именно,

что их наряжают и выставляют напоказ, чтобы поскорее сбыть с рук (в словах этих содержится немалый упрек и беззаботным родителям).

У Селио родителей не было, но был он от природы щедро одарен различными высокими достоинствами, - мне кажется, этим я уже сказал, что он был беден и не в чести у людей богатых. Один Октавио был с ним неразлучен; их дружба, зародив зависть в окружающих, вызвала ропот и большое неудовольствие родственников Октавио, которые жаловались Лисене на то, что в любом собрании, едва завидев Селио, Октавио отходил от них, часто даже не извинившись.

Лисена, задетая невниманием своего сына к родственникам и тою любовью и предпочтением, которые он выказывал Селио, как-то раз, на горе всем, побранила его за это более откровенно, чем обычно. Октавио догадался, из какого колчана были эти стрелы, и понял, что с помощью разных злых толков его хотят разлучить с другом; оставаясь почтительным, он сказал своей матери, что, если бы она знала все те свойства природы Селио, которые заслуживают любви и уважения, она не только не стала бы упрекать его за эту дружбу, а напротив, сама повелела бы ему проводить время только в обществе Селио. Он добавил, что, познав вероломство прежних своих друзей, их неискренность, непостоянство, неумение хранить тайну и их низкие нравы, он решил ограничить себя обществом самого благородного, самого разумного, самого доброго, верного и правдивого кабальеро во всем Толедо, обладающего самыми изысканными манерами и лучше всех умеющего хранить тайну. И с тех пор, как он стал проводить с ним время, у него не было ни одной ссоры и ему ни разу не приходилось пускать в ход шпагу, и все это потому, что Селио настолько миролюбив, благоразумен и осторожен, что ему удается улаживать все недоразумения, которые возникают между другими кабальеро; благодаря своему уму он добился такого уважения среди них, что все они завидуют Октавио, видя, как Селио оказывает ему предпочтение и столь заслуженным образом приближает его к себе.

Лисена внимательно выслушала Октавио и ничего ему не ответила, так как знала, что он говорит правду, и ей никогда не приходилось слышать ничего такого, что бы противоречило его словам. Но еще усерднее внимала его словам Диана; слушая похвалы, которыми ее брат осыпал Селио, она испытывала внезапное волнение; сердце ее нежно замирало, и в ней рождались какие-то новые чувства; она хотела помочь брату, сказать что-нибудь о том, что ей случалось слышать о Селио, но чтобы не дать другим увидеть то, что ей уже хотелось хранить в тайне, она заперла свои слова в сердце и заключила в душе свои желания, и только румянец, появившийся на ее щеках, сказал о том, о чем умолчали ее уста.

Через несколько дней дом Лисены посетила одна знатная сеньора, их родственница, с несколькими своими подругами, молодыми и красивыми дамами. Это не был обычный светский визит, их скорее привело желание приятно и весело провести время, так как их пригласили присутствовать при том, как Диана будет выполнять слово, данное ею некогда своему брату, - она обещала ему, что накануне праздника его святого Октавио будут подвешивать {9} - известный обычай, который в ходу в Испании с незапамятных времен.

Октавио упробил Селио провести этот вечер в его доме, тем более что они могли находиться в другой комнате и не встречаться с дамами. Они вошли в комнату, которую занимал раньше отец Октавио; смежная с гардеробной, она находилась на большом расстоянии от той, где собрались дамы. Но случилось то, чего не мог предвидеть Октавио: не полагаясь на служанок, Диана оставила шумную беседу своих гостей, чтобы достать из шкафа кое-какие безделушки - подарки, которые в подобных случаях принято делать в каждом доме. Услышав шаги брата, она смутилась и задержалась на мгновение. Остановился и Селио, и когда Диана уже выходила из комнаты, туда, опередив своего друга, вошел Октавио. Диана взглянула на Селио, и все чувства, волновавшие ее душу, вспыхнули на ее лице, озарив ее красоту и лишив ее мужества.

Селио насколько мог приблизился к Диане, - это было самое большее, что он в силах был сделать, настолько он был смущен и растерян, - и сказал ей:

- Как влекло меня сегодня в ваш дом! На что она ответила ему, ласково улыбаясь:

- Ваше влечение вас не обмануло. Мне вспомнились, сеньора Леонарда, те первые слова знаменитой трагедии о Селестине {10}, когда Калисто говорит: "В этом, Мелибея, я вижу величие господина". А она отвечает ему: "В чем, Калисто?" Я вспомнил эти слова, потому что один весьма образованный человек любил говорить, что если бы Мелибея не ответила: "В чем, Калисто?", то не было бы на свете книги "Селестина" и любовь этой пары дальше бы не пошла. Так и теперь - несколько слов, которыми обменялись Селио и наша смущенная Диана, положили начало такой любви, стольким опасностям и несчастьям, что для того, чтобы рассказать обо всем этом, я хотел бы быть Гелиодором {11} или же знаменитым автором повести о Левкиппе и влюбленном Клитифонте {12}.

Этот прелестный ответ - сколько бед ожидало Диану в наказание за его смелость! - привел Селио в восхищение, и он был до крайности взволнован, потому что в душе его боролись крылатая надежда и сознание того, насколько трудна его задача. Он вошел в комнату Октавио с таким выражением на лице, как будто ровно ничего не случилось, и, заговорив с другом, принялся расхваливать его оружие и отдал должное старанию и вкусу, с какими развешаны были на стенах шпаги, сделанные различными мастерами, с разной

формы лезвиями, богато украшенные, - их у Октавио было множество. Селио попросил Октавио вооружиться с ног до головы и вооружился сам одним лишь вороненым оружием; они решили поупражняться перед предстоящим турниром.

Как изобретательна любовь, когда она стремится проложить дорогу своей надежде! Иначе разве мог бы Селио появляться так часто в доме Октавио, а Диана видеть его и мечтать о нем. Наконец однажды, в более счастливый для них обоих день, чем другие, он смог ей передать письмо вместе с алмазным перстнем. Диана приняла его с нескрываемой радостью и удовольствием и, спрятавшись ото всех, поцеловала письмо и перечла его сотни раз. Вот оно:

Письмо Селио к Диане.

"Прелестнейшая Диана, не вини меня за дерзость: ведь каждый день, глядя в зеркало, ты видишь ее оправдание. Не знаю, на счастье или на горе я встретил тебя, но могу поклясться твоими прекрасными глазами, что я полюбил тебя еще раньше, чем тебя увидел; клянусь тебе, что каждый раз, когда я проходил мимо твоих дверей, я невольно менялся в лице и сердце говорило мне, что здесь живет причина моей гибели. Что же мне делать теперь, после того, как я увидел тебя и ты дала мне надежду на то, что относишься благосклонно к моей любви - такой чистой и, боюсь, такой безнадежной.

Я полагаюсь на твои слова; с трудом я поверил бы в то, что услышал, как ты их произнесла, если бы меня не убеждали мои глаза, видевшие, как ты их говорила, и моя душа, в которой после твоих слов проснулась незнакомая мне до этого нежность, - и я прошу тебя позволить мне говорить с тобой, хотя и не знаю, что я смогу тебе сказать; но если ты согласишься на этот разговор, то знай, что честь твоя будет в безопасности и ты сможешь наказать меня за мою дерзость".

Как счастлива та любовь, которой покровительствуют звезды и которой они приносят то, чего она хочет! Никаких слов недостаточно, чтобы дать представление о том, что почувствовала Диана, когда письмо это рассказало ей о влюбленной душе Селио; правдивость и прямота этого письма обрадовали и тронули ее больше, чем искусство, с которым оно было составлено, и вот что она написала в ответ:

"Селио, мой брат, Октавио, повинен в том, что, восхваляя ваши достоинства, возбудил во мне любовь к вам. Пусть же он винит себя и за мою теперешнюю дерзость.

Скажу о главном: подчиняясь вам, я буду любить вас так, как только смогу, но указать вам место, где бы вы могли говорить со мною, нет никакой возможности, потому что комната, в которой я сплю, выходит окнами во двор одного дома, где живут какие-то бедняки, и я ни за что на свете не решусь

причинить огорчение своей матери и своему брату разговорами о том, как я нарушаю свои обязанности".

Недолго пришлось ей ждать возможности передать это письмо Селио; он же, получив его, почувствовал такую радость, какой не знал еще никогда в жизни.

Дело в том, что хозяйка бедного домика, о котором писала Диана, была кормилицей Селио. Он посетил ее несколько раз и наконец стал просить ее поселиться в лучших комнатах его дома, уверяя ее, что ему горько видеть, в какой она живет бедности. Убедить ее переехать к нему оказалось не трудно, так как она решила, что им руководит признательность, которую он не утратил, хотя и стал взрослым. Селио получил ключи от ее дома и, показав их Диане, объяснил ей знаками, что теперь они принадлежат ему и что она должна отбросить все свои опасения.

Наступила ночь, и Селио вышел из дома, чтобы посмотреть, не появилось ли на небе его солнце, а Диана, услышав во дворе шаги, звук которых отдавался эхом в ее сердце, осторожно отворила окно и ставни, и он увидел ее лицо, полное любви и страха.

Как только Селио оправился от растерянности и восхищения, во время которого вся кровь сладко прихлынула к его сердцу, а в глазах зажглась радость, он сказал ей столько нежных, трепетных и влюбленных слов, что Диана с трудом решилась отвечать на них, так как стыдливость сковала ее уста и новизна всего, что она слышала, смущала ее рассудок. В таком положении их застала заря, которой они не ждали, он - потому, что любовался своим солнцем, а она - так как смотрела с высоты на него.

Так прошло несколько дней, и они по-прежнему осмеливались лишь говорить друг другу о своей любви и предаваться в одиночестве своим чувствам. Окно Дианы возвышалось над землей на четырнадцать или шестнадцать футов, и однажды Селио попросил у нее разрешения подняться к ней. Диана притворилась оскорбленной и, не произнося слов отказа, спросила, каким образом думает он обойтись без шума, притащив лестницу в дом, где давно никто не живет. Селио ей ответил, что, если она ему разрешит, он сможет подняться к ней и без лестницы. В конце концов они согласились на том, что он не войдет в ее комнату. О любовь, сгоряча ты готова отказаться от самого желанного! Блажен, кто верит твоим обещаниям. Селио взял веревочную лестницу, которую он приносил с собой уже несколько ночей подряд, в надежде на то, что одна из этих ночей подарит ему удачу; подняв с земли палку, как будто бы нарочно валявшуюся неподалеку, он привязал к ней конец лестницы и забросил ее в окно, предупредив сначала Диану и попросив ее свесить лестницу из окна своей комнаты. Диана, дрожа от волнения, помогла ему укрепить лестницу, и едва Селио убедился в ее прочности, как, доверившись веревочным

ступеням, он через мгновение оказался в объятиях Дианы, которая как будто бы затем, чтобы не дать ему упасть, протянула к нему свои руки. Селио поцеловал их под тем же предлогом, как будто бы благодарил ее за заботу о своей жизни, - ведь любовь подобна придворному, который все поступки, идущие от сердца, прикрывает маской учтивости.

Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, не может ли кто их увидеть, они решили, что это невозможно, - может быть, потому, что так им хотелось, - и тогда громче заговорила их любовь, и они стали казаться парой влюбленных голубков, которые целуются и своим воркованьем вызывают друг друга на нежное состязание. Несколько ночей подряд повторялась такая тайная беседа наших влюбленных, ибо Диана никак не соглашалась на то, к чему стремился Селио, хотя он убеждал ее самыми красноречивыми доводами, принося самые пламенные клятвы. Мне вспоминаются черты влюбленного, описанные Теренцием в его "Андрিয়нке" {13}; из пяти, о которых он упоминает, Селио обладал четырьмя: его томило желание; он был красноречив; каким тоскующим он притворялся, каких только он не давал обещаний, как перевозносил он свои чувства, как, подтверждая его печаль, бледнело его лицо и какие нежные жалобы вырывались из его уст! Наконец однажды он с такой настойчивостью молил ее, что Диана не сказала ему в ответ ни слова, и он, почти не встречая с ее стороны сопротивления, очутился в ее комнате и, опустившись перед ней на колени и проливая притворные слезы, стал просить у нее прощения за свою дерзость.

Скажите же мне, сеньора Леонарда, почему все эти слова и поступки не мешают мужчинам позорить честь женщин! Они делают их мягкими, как воск, своими обманами и хотят, чтобы они оставались твердыми, как камень. Что могла предпринять Диана против такой настойчивости? Разве она была Троей, Карфагеном или Нуманцией {14}? Как хорошо сказал поэт:

Как ни сопротивлялась Троя,
А все ж пришлось и Трое пасть.

От волнения Диана лишилась чувств; Селио поднял девушку, бережно отнес ее на кровать, и его слезы послужили водой, чтобы привести ее в чувство, но в то же время стали огнем, воспламенившим ее сердце. Подобно тому как зимней ночью люди слышат в полусне как идет дождь, так и Диана, сознание которой дремало, а любовь бодрствовала, чувствовала на своем лице слезы Селио. Когда она пришла в себя, он снова начал просить у нее прощения, в котором она не могла ему отказать, так как уже раскаивалась в том, что заставила Селио о чем-то просить, но вместе с тем она стала умолять его вспомнить то, что он обещал

ей перед тем, как проник в ее комнату, и требовать, чтобы он покинул ее, не нанося оскорбления ее чести и ее любви. Но Селио уже не в силах был ей повиноваться; к тому же, он считал, что сопротивление Дианы не может быть настолько велико, чтобы противостоять такому счастливому стечению обстоятельств. Так он сделался Тарквинием менее стойкой Лукреции {15} и, осыпая ее клятвами и обещаниями, лишил ее чести, искренне обязавшись жениться на ней. С этого дня их любовь стала еще сильнее, и Селио не постигла участь оболстителя прекрасной Фамари {16}, обладание не угасило его страсти, а красота девушки не позволила раскаянию проникнуть в его душу.

Вскоре радость счастливого кабальеро стала всем заметна, так как при своем скромном состоянии он заказал своим слугам ливреи, а все это потому, что когда любовь человека торжествует, он перестает быть бережливым и не боится расстаться со всем тем, чем раньше владел. Селио спросил у Дианы, заходит ли иногда мать в ее комнату, и та ответила ему, что нет; тогда он выпросил у нее разрешение остаться в этой комнате на несколько дней, и она принялась воспроизводить его в себе с такою быстротой, что вскоре не могла уже об этом молчать, и ее горькие слезы говорили о раскаянии, вызванном опасением того, что это событие, скрыть которое было бы невозможно, откроет ее матери и брату позор их семьи. К тому же, она думала о том, что станут говорить в городе о ее внезапном уединении и что скажут о ней родственницы и подруги, уверившись, что добродетель ее притворна.

Селио пытался указать ей способы, которые могли бы устранить беду. Он ни на минуту не подумал о том, чтобы умертвить ребенка, но сознавая, что, попросив руки Дианы, он утратит дружбу Октавио и что, зная о его бедности, ее не согласятся выдать за него замуж, он решил уговорить Диану прибегнуть к вмешательству церкви. Однако она отвергла этот совет и потому, как показалось Селио, что она слишком горевала о своей чести, чтобы обнаружить перед людьми свою любовную историю. Если бы девицы соизволили задуматься над тем, что случилось с Дианой, то, возможно, они бы перестали легкомысленно прокладывать пути собственному несчастью. В конце концов Селио предоставил решить Диане, как нужно поступить, так как сам он не хотел, попросив ее руки, потерять дружбу Октавио и видел в то же время, что она не может согласиться на то, чтобы суд церкви помог ее замужеству.

Сотни раз проклинала себя Диана за то, что позволила Селио овладеть ею, а надо принять во внимание, что она нежно его любила и, как говорится в простонародье, видела свет божий его глазами. Наконец

Селио, который в растерянности принимал то одно решение, то другое, ибо, как говорит Сенека {17}, сомневающийся дух постоянно колеблется между разными решениями, сказал Диане, что, если у нее хватит духу покинуть дом

своей матери, он увезет ее в Индии {18} и там женится на ней. Отчаяние Дианы было столь велико, что она согласилась уехать и, рыдая, стала его просить увезти ее туда, где бы она не видела гнева и горя своей матери и безумия своего брата, а там пусть он, если хочет, даже убьет ее в первом же лесу.

Селио, рассказавшего, к счастью, было столь же велико, серьезно задумавшись об опасности и, руководимый своей тревогой, начал готовиться к отъезду, так как новый гость, живущий под сердцем Дианы, уже давал о себе знать: он освоился в своем домике и с каждым днем занимал в нем все больше места.

У Селио были две красивые лошади, которые составляли его выезд и в то же время служили для верховой езды; он украсил одну из них богатой сбруей, а на спину другой велел надеть дорогое седло; приготовил он и два дорожных костюма, одного цвета и с одинаковыми украшениями, - один для себя, а другой для Дианы. Несколько ночей он провел с нею, рассказывая ей обо всем, что он предпринимал для их отъезда. Эти разговоры доставляли Селио большое удовольствие, так как ему казалось, что этим он искупает свои грехи. Решив, что она никогда больше не вернется в свой дом и не увидит родных, Диана задумала увезти с собой кое-какие вещи - отчасти по названной причине, отчасти потому, что не знала, что ждет ее впереди, ибо судьба изменчива и очень редко покровительствует влюбленным, когда они находятся на чужбине. Она взяла у Лисены ключи и достала из ее сундуков самые ценные украшения, какие только там были, и некоторое количество эскудо {19}. Все это она спрятала в ларчик, который у нее был еще с детских лет, и заперла его на ключ.

Приблизилась ночь, когда они должны были уехать. В этот день Селио оделся с большим старанием во все черное, для того чтобы у Октавио не возникло никаких подозрений {20}. Но Октавио так, как если бы ему кто-то сообщил о замысле Селио, не отпускал его от себя ни на шаг, хоть тот и уверял, что его ждут неотложные дела. Было уже девять часов вечера, а Октавио все никак не оставлял Селио одного, и когда Селио захотел уйти против его желания, он с удивительной и нескрываемой настойчивостью повел его вместе с собой. Они вошли в игорный дом, один из тех, где обычно собираются праздные кабальеро; некоторые из них проводят здесь время за игрой, иные о чем-то вполголоса разговаривают друг с другом, кое-кто просто отдыхает от семейных треног, в то время как в доме у него - в уверенности, что хозяин не скоро вернется, - его заменяет какой-нибудь гость.

Селио мучило томительное опасение; он знал, что если покинет Октавио, тот пошлет вслед за ним пажа, чтобы спросить, куда он уходит, а если останется и будет его ждать, то упустит возможность увезти Диану из дома. Он решил запастись терпением и довериться судьбе, тем более, казалось ему, что для

Дианы будет достаточным извинением то обстоятельство, что он никак не мог покинуть Октавио.

Тем временем Диана, хорошо помня о том, что ей нужно сделать и что она должна взять с собой, надела свое лучшее платье, взяла потихоньку ключи и стала ждать Селио на балконе, который помещался над самыми воротами. Пробило полночь - время, когда обычно ее брат возвращался домой после игры или других развлечений, которым предаются молодые люди, и в тот самый момент, когда ее охватили печаль и горестные сомнения, она увидела при свете луны приближающегося к дому мужчину, высокого и стройного, в богатой широкополой шляпе, украшенной белым пером и еще чем-то золотым, что переливалось при его приближении, как алмазный луч. Все это и многое другое заставило ее принять этого человека за Селио. Ни о чем не подозревая, мужчина прошел мимо дома; Диана, ничего не различая от страха, окликнула его два раза. Мужчина обернулся и, увидев нежные очертания женской фигуры, стоящей на балконе одного из лучших домов в городе, подошел к ней, не произнося ни слова и не без страха думая о том, что его сейчас ожидает. Диана сказала ему:

- Пора уже?

На что он ответил:

- Для этого любой час хорош.

Тогда, не обратив внимания на его голос, ибо обманувшееся воображение сказало ей, что голос этот тот самый, который она должна была услышать, она со словами: "Ждите меня у ворот", спустила ему ларец. Незнакомец, зная, что и слова эти и ларец предназначены вовсе не для него и что женщина эта ждала другого, убежал, ослепленный жадностью, опасаясь, что она, догадавшись об обмане, начнет звать на помощь.

Между тем, Диана, стараясь не шуметь, подошла к дверям, тихонько открыла их и, не увидев Селио, решила, что он из осторожности прошел немного дальше по улице; тогда, находясь во власти своего заблуждения, она вышла за городскую черту, и там, не видя ничего больше, кроме деревьев и полей, она сотни раз принимала решение вернуться обратно. Но опасаясь, что брат ее уже пришел домой и, найдя двери открытыми, поднял шум и забил тревогу, а также не веря, чтобы Селио, столь благородный, влюбленный и честный кабальеро, мог погубить свою честь ради ларца с драгоценностями, она в ту минуту, когда на башне собора пробило два часа ночи, перешла через мост Алькантары и пошла дальше по каменистой горной дороге. На лице ее выступил холодный пот; тысячи мыслей и сомнений проносились в ее голове; она все больше уклонялась от дороги, пока наконец не добрела до леса. Здесь она много раз принимала решение расстаться с жизнью, но ее останавливал законный страх

погубить свою душу.

Кабальеро, занятые игрой, а некоторые из них - огорченные своими проигрышами, так как никакая игра без них не обходится, развлекались до трех часов ночи. Тогда-то и Октавио отправился домой, сопровождаемый Селио, которому хотелось, чтобы Диана услышала, как он прощается с ее братом, и не сердилась на его опоздание.

Октавио, удивленный тем, что в столь поздний час ворота не заперты, кликнул слугу и поблагодарил его за то, что из преданности ему и желания услужить он оставил двери открытыми. Слуга долго искал ключи и, не найдя их, остался на страже у ворот, пока рано утром не проснулся Октавио, и когда тот спросил у него, почему он не спит, слуга ему ответил, что он не мог запереть дверей, так как не нашел ключей на их обычном месте, и это заставило его сидеть у ворот. Не поверив слуге, Октавио постучал в комнату дуэньи, женщины честной и достойной доверия, и стал допытываться у нее, куда девались ключи; дуэнья, не совсем проснувшись, очень удивилась, и все это вызвало в доме переполох, во время которого одна молоденькая служанка вошла в комнату Дианы; не найдя ее там и увидев, что постель ее совсем не смята, она почувствовала что-то неладное и воскликнула, заливаясь слезами:

- О моя госпожа и мое сокровище, почему вы не взяли с собой вашу несчастную Флоринду?

На ее крики в комнату поспешно вошли мать и брат Дианы; узнав, что она потеряла свою честь и покинула их дом, Лисена без чувств упала на землю, а побледневший Октавио стал допытываться у слуг, задавая им торопливые вопросы и как безумный оглядываясь по сторонам.

Одна только Флоринда могла сказать, что уже два или три дня замечала, как Диана плакала, и так горько, что, хотя она и говорила о посторонних вещах, из глаз ее лились слезы и она глубоко и печально вздыхала.

Совсем рассвело, и беда стала уже явной, когда они послали в два ближних монастыря, где у Дианы были две тетки-монахини. Обе ответили, что ничего о ней не знают; также ничего не знали о ней все ее родственницы и подруги, которые мгновенно заполнили весь дом.

Из-за этого шума, криков и суматохи слухи о происшедшем распространились по городу, и завистливые друзья - если только бывают таковые на свете - принялись уверять, что Диану похитил Селио, причем некоторые из них даже утверждали, что собственными глазами видели, как это произошло.

Фенисо, слуга Селио, услышал об этом во дворе аюнтамьенто {21}, а также в приделе святого Христофора {22}. Будучи человеком справедливым, он осмелился возразить, что каждый, кто утверждает, что Селио так подло предал

Октавио, - лжет; повернувшись спиной к болтунам, он добавил:

- Селио и Октавио расстались друг с другом в три часа ночи, и когда я уходил из дома, Селио еще спал; скоро он сам явится сюда и вступится за свою честь.

Фенисо разбудил Селио, который, услышав о том, что происходит, надолго потерял над собой власть; но, зная, сколь необходимо ему овладеть своими чувствами, поспешно оделся и, бледный как полотно, пошатываясь на ходу, обошел все те места, где, по словам Фенисо, высказывались обвинения по его адресу. При виде Селио сплетники разбежались, объяснив его печаль дружбой, которая связывала его с Октавио и была всем известна.

Селио нашел Октавио у дверей его дома; они посмотрели друг на друга и долго стояли так, не произнося ни слова; каждый из них предавался своему горю, и хотя велико было горе Октавио, горе Селио было еще больше. Преодолев свое волнение, он сжал в своих руках руки Октавио, которые дрожали и были холодны как лед, и сказал:

- Если бы даже мне случилось потерять честь, все равно я не знаю горя, которое заставило бы меня столь же сильно страдать, как это. Ах, Октавио, ваше горе разрывает мне душу!

Октавио, хотя он и был мужественным кабальеро, лишился чувств в его объятиях, тронутый слезами, которые он увидел на лице Селио. Его отнесли в комнату, где заботы Селио вернули ему сознание. Тогда виновник всего случившегося, сделав вид, что он ничего не знает, стал задавать настойчивые вопросы о том, какие были приняты меры. Октавио подробно ему рассказал обо всем, и Селио, желая успокоить его, сказал, что, раз Дианы нет в городе, нужно немедленно начать искать ее на всех дорогах и что он первый начнет эти поиски. Ободрив Октавио, он обещал ему не возвращаться в Толедо без Дианы, если только она не вернется домой сама, и, протянув ему руки, отправился к себе домой. Так как Селио уже был готов к отъезду, то дома он сразу нашел все необходимое для того, чтобы отправиться в путь. Уже близилась ночь, и он, взяв с собой одного только своего слугу Фенисо, выехал из города, рыдая и моля небо направить его в ту сторону, где находилась Диана; он так тяжело вздыхал, столько нежных и печальных жалоб срывалось с его уст, что даже скалы и деревья почувствовали к нему жалость, и в горах, где бежит Тахо, ему вторило эхо.

Между тем, Диана проснулась в долине, которую освежал извилистый ручеек; сквозь заросли тростника и шпажника проглядывала гладь его воды, похожая на осколки разбитого зеркала. Она посидела немного и, выпив несколько глотков воды и охладив свою грудь, взволнованную горестями минувшей ночи, разулась, чтобы перейти ручей, и сказала:

- О беззаботные радости, какой печальной истиной приходится расплачиваться за ложь, которой вы нас прельщали! Как сладко обманывало меня начало, и какой грустный конец завершает такое короткое счастье! О Селио, кто бы мог подумать, что ты обманешь меня! Взгляни, что мне приходится терпеть из-за тебя: за то, что я тебя полюбила, я теперь ненавижу себя, потому что для меня сейчас нет ничего более постылого, чем моя жизнь, которую ты любил; но я уверена, что, если бы ты меня увидел сейчас, твоя душа прониклась бы жалостью к тому, как я из-за тебя страдаю.

В эту минуту она взглянула на свои ноги и вспомнила, как любил их Селио; сердце ее смягчилось, она не стала переходить через ручей и, рыдая, долго сидела, убаюкиваемая шумом воды и голосом пастуха, который недалеко от того места, где находилась Диана, пел такую песню:

Между двух зеленых вязов,
Словно под зеленой аркой,
Тахо воды мчит безмолвно,
Чтоб не разбудить пернатых.

Тщетно руки двух влюбленных
Два ствола срастить пытались,
Но ветвям соединиться
Не дает завистник Тахо.

Сильвио следит за ними
Со скалы, что, словно башня,
Над зелеными полями
Выситя громадой красной.

Овцы разбрелись по лугу:
Эти утоляют жажду,
Те траву лениво щиплют.
Третьи пастуху внимают.

Счастью Сильвио упорно
Зависть Лаусо мешает.
Этот глупый злой упрямец
Золотом всех рек богаче.

Он, как Тахо оба вяза,

С ним Элису разлучает,
Но лишь их тела - не души
Разделить ревнивец властен.

Взял пастух гитару в руки,
И на звуки горьких жалоб
Соловьи лесные пенъем
В ближней роще отвечают:

"Вязы, вам сплести в объятье
Ветви удастся
В дни, когда под солнцем лета
Высохнет Тахо.

Но беда, с которой время
Не может сладить,
Нам все больше мук и горя
Несет с годами".

Немного успокоившись и опасаясь, как бы человек, который только что пел, не рассказал ее брату, отправившемуся ее разыскивать, о том, где она находится, Диана пошла босиком вдоль ручья, и наконец, когда ей показалось, что ока почти уже в безопасности и что впереди не видно больше воды, так как у подножия небольшого холма ручей разделялся на два рукава и, устремляясь назад, покрывал ее ноги водой, она немедленно двинулась вперед, не подкрепив свои силы ничем, кроме немногих глотков воды, которые утром ей предложил ручей; она шла до тех пор, пока наступившая темнота не помешала ей идти дальше.

Тогда она упала без чувств среди густой травы, и, так как не было никого, кто бы ее утешил или ободрил, она заснула, так и не придя в себя. Наконец, отдохнув, она стала ждать наступления дня, охваченная страхом, который причиняли ей близкие голоса каких-то зверей и беспорядочный шум родников, стекающих с гор, кажущийся особенно сильным в ночной тишине.

То ли зря сжалилась над ее горем, то ли она позавидовала ее слезам, но только она взошла раньше обычного, и вместе с нею, преодолевая свою женскую слабость и думая только о смерти, Диана снова пошла по дороге, которая, как ей казалось, скорее других должна была привести ее к несчастному концу. Солнце уже прошло половину небосвода, когда она, решив, что своим желаньем умереть оскорбляет небо, нашла в маленькой рощице небольшой источник и немного свежей травы. Со слезами на глазах она съела несколько

травинки; источник, нежно ее лаская, умерил огонь ее сердца, и глаза ее вернули ему его влагу.

Так она шла три дня, к концу которых, выйдя из густого леса на ровное поле, она выбилась из сил и, прислонившись к дереву, увидела молодого пастуха, который, разговаривая с девушкой-горячкой, приближался к тому месту, где она стояла. Диане уже казалось, что весь мир знает, почему она покинула родительский дом, и что даже эти пастух и пастушка направляются к ней, чтобы разбранить ее и пристыдить за любовь к Селио. Она упала на зеленый дерн, росший под деревом, и, поглядев вокруг себя глазами, полными ужаса и отчаяния, лишилась чувств. Между тем, пастух, всецело занятый ухаживанием за своей крестьяночкой и озабоченный только тем, чтобы его не слышал никто, кроме птиц, которые летели за ними следом, начал песню. И если ваша милость, сеньора Леонарда, больше желает узнать о судьбе Дианы, чем слышать, что поет Фабио, то вы можете пропустить этот романс; если же ваше внимание не столь нетерпеливо, то вы можете узнать, о чем говорят эти жалобные раздумья, в которых речь идет отчасти о любви.

Кто кривить душой не хочет,
Тот в любви всегда несчастен.
Так и мне за откровенность
Стал один обман наградой.

В дни, когда тебе, Филида,
Ложью я платил за правду.
Сколько ты в тоске роняла
Слез с ланит и с губ стенаний!

Сколько раз кричал я ночью,
Если ты ко мне стучалась:
"Кто не постучался в сердце.
Тот стучится в дверь напрасно!"

Пастухи тебе твердили:
"Нету Фабио в овчарне",
И с досадой говорил я:
"Что она мне докучает!"

Жалобам твоим, Филида,
Только воды отвечали
Неумолчным, равнодушным

К горю твоему журчаньем.

Помню я, однажды ночью
Ты с отчаяньем сказала:
"Дай хоть мне пылать любовью.
Если сам любви не знаешь".

Не люби меня, Филида;
Храм любви есть сердце наше,
И в него врываться силой
Женщине не подобает.

Так у твоего порога
До зари мы добивались:
Ты - чтоб я вошел под кровлю,
Я - чтоб ты не отпирала.

Ты вскричала иступленно:
"Пусть же небо покарает
Жар, которым леденишь ты,
Лед, которым ты сжигаешь!"

Долго чахла ты, Филида,
Но всему конец бывает:
Тот, кто верит, что не любит,
Обмануться может часто.

Наша воля ни над чувством,
Ни над временем не властна.
Видим мы, что нас любили.
Лишь когда любовь утратим.

Вот и я в тебя влюбился
Так, что охватила зависть
Солнце в зареве рассвета
И луну в полночном мраке.

Рощи, горы и потоки,
Видя нас, любви предались,
И в объятиях зеленых

Стиснули друг друга травы.

Но едва лишь с гор спустился
Сильвио, который раньше
Пастухом твоим был верным,
Ты непостоянной стала.

Случай ты не упустила,
Хоть тебя я обожаю,
За презрение бывшее
Отомстить мне беспощадно.

Я клянусь тебе, Филида.
Что брожу, снедаем страстью,
Днями под твоим окошком,
У твоих дверей ночами.

Я позвать тебя не смею,
Ибо ты надменно скажешь:
"Что ж теперь стучится в двери
Тот, кто в сердце не стучался?"

Пусть порой я притворяюсь,
Что тебя не замечаю,
Но стоишь ты неотступно
У меня перед глазами.

На подарки от Филиды,
Столь постылые когда-то,
Не могу я наглядеться,
С ними не могу расстаться.

Скрыв от всех мои мученья,
Чтоб тебя не порицали,
Буду я страдать, покуда
Ты мне мстить не перестанешь.

Все тебе во мне не мило,
Даже то, что я лобзаю,
От любви безумный, землю,

Где нога твоя ступала.

И сказать тебе при этом
Я открыто не решаюсь,
Что, закравшись в наше сердце,
Ревность дружбу охлаждает.

Верно говорил Фабио, ибо, хотя и правда, что, убедившись в основательности ревнивых подозрений, позорно продолжать любить, чему множество примеров приводят Плиний {23} и Аристотель, говоря о животных, все же есть люди, которые не могут полюбить, прежде чем их не оскорбили, и то, что у Других вызывает отвращение, только разжигает их страсть. Об этом и пел пастух своей горянке, которая слушала его одновременно высокомерно и с удовольствием.

Когда песня окончилась, они подошли к тем самым деревьям, между которыми лежала почти без чувств Диана, лихорадочно перебиравшая в уме все свои несчастья: то она обвиняла Селио, то ей казалось невозможным, чтобы такой благородный, знатный, разумный и любезный кабальеро забыл о своем долге, то она винула во всем свою стремительную любовь, которая так необдуманно пошла ему навстречу; и среди всех этих сомнений ее больше всего мучила мысль о том, что, быть может, Селио к ней охладел, потому что, когда она думала о том, что он ее по-прежнему любит, она забывала о тяжести своих страданий, которые в такие минуты и не казались ей больше страданиями. А можно ли вообразить большие страдания для женщины благородного происхождения, которая в полном одиночестве прошла долгий путь по скалистой дороге, почти не имея пищи и лишенная надежды найти венец своей любви раньше, чем конец своей жизни.

Пастухи были изумлены, увидев среди ветвей такую дивную красавицу, лежавшую без чувств, совсем разутую и находящуюся скорее во власти смерти, чем глубокого сна. Пастушка окликнула ее два или три раза и, убедившись, что она не отвечает, села рядом с ней, решив, что она мертва или что жить ей осталось совсем немного. Она взяла ее руки, холодные, белые и во всем подобные снегу, заглянула ей в лицо и, увидев без чувств такую красавицу, положила ее голову себе на колени, отвела в сторону ее волосы, беспорядочно струившиеся по ее лицу и шее; уже не было того, кто их связывал и заплетал, и глаза ее посылали укор тому, кого они некогда взяли в плен. Но так как голова Дианы клонилась из стороны в сторону, то пастушка, решив, что она мертва, начала нежно и жалобно плакать. Отчаяние пастушки и горе крестьянина, умевшего нежно чувствовать, пробудили Диану и, хотя она не подала надежды,

что будет жить, все же успокоила их своими стонами; на глазах ее показались слезы, за которыми последовал такой горестный вздох, что она, положив руку на свое сердце, так как оно у нее сжималось, снова лишилась чувств. Тогда прекрасная Филида, применив обычное средство, решила расшнуровать ее, чтобы дать сердцу больше простора, а пастух тем временем принес из родника воды, капли которой засверкали на ее лице, словно слезы или жемчужины, но все же по сравнению с истинными жемчужинами, струившимися из ее ясных глаз, они казались поддельными.

Диана поблагодарила их, а когда они спросили о причине такого ее состояния, она ответила, что уже три дня бредет одиноко, без всякой пищи. Тогда Филида раскрыла свою котомку, - я думаю, ваша милость знает из пастушеских романов о том, что крестьяне обычно носят с собой котомки, - и, вняв ее просьбам, Диана заставила себя поесть, и, когда она слегка подкрепила свои силы, ее ослабевшее тело почувствовало облегчение. Пока Диана ела, Филида расспрашивала ее, кто она такая, откуда идет и как могло случиться, что волки, которые спускались с гор и шли за стадами вплоть до Эстремадуры {24}, не напали на нее в одну из этих ночей. Диана ответила, что, наверное, даже дикие звери избегали ее, как отравы, и, боясь за свою жизнь, не лишали жизни ее. Филида, видя ужасное состояние духа Дианы, желавшей, чтобы в этом лесу окончилась ее жизнь, уговорила ее пойти вместе с нею на хутор, принадлежавший ее отцу; она убеждала ее так горячо и с такой любовью, что Диана, обезоруженная ее приветливостью и чистосердечием, решила, что так будет лучше для того, кого она носила под сердцем и к кому она относилась с естественной заботливостью, хоть и ненавидела свою жизнь. Она пошла вместе с пастухами и была хорошо принята, и хотя сначала старый Сельвахуио, отец Филиды, столь же неотесанный, как его имя {25}, без особого удовольствия принял ее в свой дом, но потом, тронутый ее красотой и скромностью, а также любовью к ней дочери, почувствовал жалость и проявил некоторое радушие.

Между тем, Селио, выехав из славного Толедо, не зная никакой дороги, кроме той, по которой его вела любовь, огласил своими жалобами первый же лесок; и, повторяя себе, что это из-за него Диана покинула свой дом, мать, брата, родных, друзей, покой и родину, он среди мук, которые испытывал, и на счастье себе и на горе, едва не расстался с жизнью. Целых шесть дней он не заезжал ни в одну деревню, и лошади должны были расплачиваться за его печаль, ибо кормились они одними полевыми травами.

Наконец Фенисо увидел вдали селение, почти скрытое от глаз деревьями, над которыми возвышались две башни, отражавшие своими изразцами игру солнечных лучей. Он уговорил Селио заехать в это селение, и, прибыв туда, они стали расспрашивать, не найдется ли здесь кто-нибудь, кто мог бы им сообщить

какие-либо сведения о его потерянном сокровище. Но ни в этом селении, ни во многих других на расстоянии десяти или даже двадцати миль от Толедо, которые они исколесили за месяц, им не удалось найти никаких следов. Тогда ему пришло в голову, что, раз Диана уговорилась ехать с ним в Индии, то она, наверное, нашла человека, который довез ее до Севильи {26}. И вот, надеясь найти ее там, а также желая уехать подальше от родных мест, он решил убедиться, нет ли ее в этом славном городе. Голод и ночи, проведенные под открытым небом, настолько изменили внешность Селио, что он мог бы вернуться в Толедо, не боясь быть узанным. Прибыв в Севилью, он произвел столько розысков, сколько можно было ожидать от столь нежно влюбленного и столь верного своим обязательствам человека. Но как ни сильно был он огорчен тем, что не нашел там Дианы и не встретил ни одного человека, который сообщил бы ему о ней какие-нибудь, пусть даже ложные сведения, еще больше он был опечален тем, что индийская флотилия уже отплыла, ибо, хорошо зная силу любви, храбрость и мужество Дианы, Селио решил, что она, наверное, отплыла с нею.

Судьбе его было угодно, чтобы в порту оставался еще один корабль, зафрахтованный каким-то купцом. Он должен был выйти в море не ранее, чем через десять или двенадцать дней. Селио поговорил с этим купцом, и они условились, что тот доставит его в Индии. Владелец корабля согласился на это, и между ним и Селио установились Дружеские отношения. Несколько раз они обедали вместе, и судовладелец спрашивал его в подходящих случаях о причине его печали; однако Селио каждый раз уклонялся от ответа, говоря, что не хочет рассказывать об этих грустных вещах, чтобы воспоминания о них не усилили его скорбь. Настал день отъезда; пользуясь попутным ветром, корабль отчалил и, оставляя за собой легкий след, устремился в открытое море; и чем больше казалось Селио, что он приближается к Диане, тем больше он от нее отдалялся. И все же надежда на счастье, пусть даже обманчивая, никогда не причиняет человеку зла, потому что она облегчает жизнь.

Тем временем Октавио в Толедо не мог ни на час забыть о нанесенной ему обиде, и скорбь его еще увеличилась, потому что ни от кого из тех, кто разыскивал Диану, будь то родственники или друзья, он не узнал ничего нового, что могло бы зародить в нем хотя бы самую слабую надежду. Видя, что Селио не возвращается, он вообразил, что они сговорились с Дианой о том, что она уедет первая, а он последует за ней под предлогом, что ее разыскивает; но он отбросил эту мысль, когда до него дошел распространившийся по городу слух, будто какие-то люди видели, как Селио, в сопровождении одного только Фенисо, с большим старанием искал Диану в окрестных деревнях. Октавио успокоился - отчасти по этой причине, отчасти потому, что мать его старалась

разубедить его в этом, боясь, что, если Октавио укрепитя в своем предположении, она может потерять обоих своих детей.

Два месяца провела Диана в доме почтенных поселян, нежно опекаемая Филидой; и вот наступило время родов, которые дали ей красивого сына. Теперь она не могла бы жаловаться, как жаловалась у Вергилия покинутая Энеем Дидона:

Если б мне дарован был
Маленький Эней судьбою,
Прежде чем меня с тобою
Гнев небес не разлучил.
Рос бы он в моем дворце
И, любуясь им всечасно,
Я не стала бы напрасно
Плакать о его отце {27}.

Правда, по-иному говорит об этом Овидий в своем послании:

Часть себя, неблагодарный,
В лоно ты мое вложил,
И ее приговорил
Ныне к смерти рок коварный,
Раз Дидону ждет кончина
Из-за низости твоей,
Знай, что ты убил, Эней,
Своего родного сына {28}.

Мне думается, однако, что искусство, в котором так прославился Овидий, заставило Дидону притвориться, будто она ждет ребенка от Энея, дабы заставить его вернуться к ней; впрочем, женщины разыгрывают не только беременность, но даже и роды.

Но все, что произошло с Дианой, не было притворством; напротив, все это было настолько истинным, что явилось причиной ее странствий и бед. Кажется непостижимым, что когда люди стремятся иметь наследника, то из-за какой-нибудь прихоти, в которой стыдно признаться или которую невозможно исполнить, гибнет плод, а подчас и самое дерево, и что после стольких трудностей, всех этих дорог, пройденных босыми ногами, несчастное это дитя все же появилось на свет.

Когда прошел месяц после этого, Диана позвала Филиду и сказала ей:

- Я должна покинуть эти края; видит бог, как мне тяжело уходить отсюда, и

мои священные обязанности перед сыном могут тебе сказать об этом. Я оставляю тебе мое дитя - этот драгоценный залог обяжет меня вернуться. Я не могу идти в своем платье и вообще одетая как женщина, потому что в женском платье я была несчастна. Поэтому прошу тебя, дай мне что-нибудь из одежды тех крестьян, что служат твоему отцу или тебе; а чтобы платье это было чистым, я из плаща, в котором пришла сюда, уже сшила себе штаны, с тем малым искусством, какому могли научить меня мои несчастья.

Сказав это, она начала переодеваться, и никакие мольбы и даже слезы Филиды не могли изменить ее твердого решения. Диана достала два алмазных ожерелья, которые она носила у себя на груди, и, отдав Филиде одно из них, более дорогое, чтобы та растила ее сына, она расплатилась вторым ожерельем за оказанное ей гостеприимство; отблагодарить же за любовь она была бессильна.

Наконец она завернулась в плотный плащ и, обрезав свои волосы, покрыла деревенской широкополой шляпой головку, привыкшую к дорогим лентам, алмазам и золоту. Диана была хорошо сложена, фигура у нее была высокая и стройная, лицо не было чрезмерно изнеженным, и благодаря всему этому ее можно было теперь принять за красивого юношу, похожего на Аполлона, пасущего стада Адмета {29}. Когда она прощалась с Филидой и ее старыми родителями, все плакали, а больше всех Лаурино, который не спускал с нее глаз. Диана все время называла себя вымышленным именем Лисиды, и потому Лаурино, считавший себя поэтом и музыкантом, позднее жаловался на разлуку с ней в таких стихах, как нижеследующие, причем Филида слушала его не без ревности, что усиливало страдания Фабио:

Хоть прожила у нас
В селении ты мало.
Ты мне милее стала
Всех женщин во сто раз.
И полон я обиды,
При мысли, что лишусь тебя,
Лисида.

От горя я б не чах,
Когда б при расставанье
Хоть проблеск состраданья
Прочел в твоих очах.
С твоим исчезновеньем

Не жизнью будет жизнь моя,
а тленьем.

Я б дни свои прервать
Был принужден тоскою,
Не верь я, что с тобою
Мы свидимся опять.
Ведь смерть не постигает
Того, кто жизнь в любовь к тебе
влагает.

Смотри, в саду цветы -
И те грустят немножко:
Ведь больше белой ножкой
Их мять не будешь ты.
Чьи ножки так прекрасны,
Что им и души и цветы подвластны.

Как я мечтал о том,
Что здесь, в саду зеленом.
Моим трудом возвращенном,
Мы будем жить вдвоем!
Но раз тебя не станет,
Жизнь Лаурино, как цветы, увянет.

Сажал я птиц лесных
В темницу золотую
И ждал, что угожу я
Тебе напевом их,
Но самому, как птице,
Мне у тебя в плену пришлось
томиться.

Ручей запружен мной,
Чтоб ты в воде купалась,
Чтобы в нее вливалась
Твоя слеза порой,
Но буду у потока
Не ты, а я лить слезы одиноко.

После нескольких дней пути мужественная и несчастная Диана пришла в одно селение, лежащее неподалеку от Бехара (заходить в Пласенсию ей не хотелось, так как она боялась встретить своих родственников, которые там жили). Она вышла на площадь и, став посреди нее, объявила, что ищет себе хозяина. Один богатый крестьянин заметил ее и, восхищенный ее изящной осанкой и красивым лицом, решил, что этот парень не пот, за кого он себя выдает, как это и было на самом деле. Он подошел к Диане и задал ей несколько вопросов; она ответила на них, выдумав себе имя и родину, и кончилось тем, что он повел ее с собой. Крестьянин этот был знаком со старшим пастухом герцога и знал, что тот искал работника, который бы заботился о пропитании пастухов и присматривал за разными необходимыми вещами, какие те берут с собою в поле, где пасутся большие стада, так как прежний его работник недавно женился. Он дал Диане поесть, написал ей письмо для старшего пастуха и отправил ее в путь, объяснив дорогу и снабдив пищей на два дня.

Еще не увидев Дианы, старший пастух принялся смеяться над письмом, над своим другом и над нею; он позвал других работников и все они сговорились подшутить над мнимым юношей. Старший пастух спросил у нее, откуда она родом, и Диана ответила, что из Андалусии, а если кожа у нее не смуглая, как бывает обычно, то потому, что она долго находилась в лесу, где она могла загорать ровно столько, сколько хотела. В конце концов Диана сумела дать ему такие ответы и проявить столько веселости и бойкости, защищаясь от острот и хитрых вопросов крестьян, что старший пастух остался доволен и повел ее в свой дом.

В тот же вечер, услышав, как она напевает вполголоса, доставая из колодца воду, чтобы наполнить корыто, предназначенное для домашнего скота, он спросил, не умеет ли она играть на каком-нибудь инструменте, как это обычно водится среди андалусских пастухов. Диана ответила, что играет на лютне, разгоняя этим иногда свою грусть, к которой она предрасположена от рождения. Лисандро - так звали старшего пастуха, - удивленный тем, что она играет на инструменте, так редко встречающемся в деревне, несколько изменил к ней свое отношение.

С меньшим вниманием смотрела на мнимого юношу Сильверия, дочь его, которая не отрывала глаз от Дианы с тех пор, как та появилась в их доме.

Мне кажется, что ваша милость найдет, что это само собой разумеется, и скажет: раз у старшего пастуха была дочь, то она должна была непременно влюбиться в переодетую девушку.

Не знаю, было ли это на самом деле так, но я повинуюсь нити моего рассказа, и пусть ваша милость запасется терпением и узнает, что Сильверии было семнадцать или восемнадцать лет, а возраст этот требует подобных

чувств. Неподалеку жил один студент, который поглядывал на нее и изучал курс права больше по своим фантазиям, нежели по всяким Бартуло и Бальдозр, которых он привез с собой из Саламанки.

Лисандро послал к нему за музыкальным инструментом, который, хоть он и не был лютней, можно было настроить и приспособить к голосу певца. Студент принес его и имел полную возможность послушать с улицы, как Диана пела:

_Бесконечные гоненья
За обман претерпевая
И тоски не избывая,
Я забыл про наслажденья_.

Кто полюбит всей душой,
Но взаимности лишится,
Тот напрасно будет тщиться
Снова обрести покой.
Что мне в радости бывлой,
Если горе и волненья,
Недоверьем упоенье
Отравили с давних пор
И сломили мой отпор
Бесконечные гоненья?

Если ты любви своей
Сердце отдал безоглядно,
И ловил признанья жадно,
И не устоял пред ней.
То в безумстве юных дней
Ты раскаешься, рыдая.
Раз ошибка роковая
Мной была совершена,
Я страдаю, стыд сполна
За обман претерпевая.

В споре с чувством прав всегда
Разум, людям данный богом.
Потому по всем дорогам
И летит за мной беда,
Что в прошедшие года,
Глас рассудка побеждая,

Страсть и пылкость молодая
Мне не позволяли жить,
Запретив себе любить
И тоски не избывая.

Сердце мне печаль грызет
И терзает страх ревнивый.
Я - как грешник боязливый,
Что небесной кары ждет.
Ах! Пускай любовь пройдет,
Ибо если увлеченья,
В душу заронив сомненья
И вселив в нее боязнь,
Обрекли меня на казнь,
Я забыл про наслажденья.

Эту песню Диана пела потому, что ни одна из тех, что были ей известны, не подходили так к ее несчастьям, и спела она ее так хорошо, что ни по голосу никак нельзя было принять ее за женщину, ни по наряду нельзя было угадать, что она не мужчина. Сильверия совсем потеряла голову, увидев, что к внешним достоинствам Дианы еще добавляется такое дарование.

Мне кажется, что этот рассказ представляется вашей милости скорее пастушеским романом, чем новеллой, но я полагаю, что происходящие в ней события не потеряют из-за этого своей прелести, и признаюсь вам, что нет большего удовольствия, чем излагать их.

Прошло несколько дней, и Сильверия стала добиваться благосклонности Дианы и непрерывно старалась сделать ей что-либо приятное. Наконец однажды, во время праздника, оказавшись наедине с нею в небольшом саду, где было больше деревьев, чем цветов, как это обычно бывает в деревне, Сильверия принялась расспрашивать Диану о ее родине, о причине, побудившей ее покинуть свой край, а также - не была ли она уже влюблена, несмотря на свой юный возраст, - в противном случае намереваясь предложить ей свое собственное сердце.

На все эти вопросы Диана отвечала умно и весьма осмотрительно; она сказала, что женитьба отца заставила ее уйти из родного дома, - тут она не поскупилась на слова, описывая жестокость своей мачехи. Но в эту минуту в саду появились гуляющие, и разговор оборвался, к большому огорчению Сильверии, которая не отрывала от Дианы своего замороженного взгляда.

Крестьяне втихомолку посмеивались над робостью Дианы; поэтому, чтобы

не навлекать на себя подозрений, она стала ухаживать за поселянками, которые приходили в дом ее хозяина, и поскольку дом этот был большой и в нем было много слуг и служанок, там постоянно бывали танцы. Диана вышла танцевать, и застенчивость ее сразу же прошла, к большому удовольствию деревенских девушек, а в особенности сестры того самого студента, о котором я уже упомянул, - надо сказать, что она была ученой красоткой и охотно читала книги о рыцарях и о любви.

Однако все это огорчало Сильверию, и как-то вечером, сжигаемая ревностью, она со слезами на глазах стала говорить Диане о том, как она несчастна оттого, что не заслужила ее расположения, подобно другим девушкам; обиднее всего то, что, не любя ее, самую несчастную из всех, она заставляет ее умирать от ревности своей благосклонностью к сестре студента. Видя, что дочь хозяина влюбилась в нее, Диана настолько прониклась к ней состраданием, что чуть было не призналась ей, что она женщина, как и сама Сильверия; однако, опасаясь, что сразу же может обнаружиться, кто она такая, и что это приведет, пожалуй, к большим неприятностям, она притворилась, будто рада слышать все это, и немного успокоила ревность Сильверии, уверив ее, что у нее хватало смелости заглядываться на других девушек, но не на нее, потому что ее останавливало должное почтение к ней, как к дочери своего хозяина, но что теперь она заглядит свою вину перед нею. Сильверия поверила этим обещаниям и была очень довольна. Она взяла руку Дианы и, хотя та противилась этому, поцеловала ее два раза, охладив пламя своего сердца снегом ее руки, если только можно назвать охлаждением то, что лишь усиливало сердечное пламя.

Любовь Сильверии стали уже замечать в доме; недаром говорят, что любовь, деньги и заботы скрыть невозможно: любовь - потому, что она говорит глазами, деньги - потому, что они сказываются в роскоши того, у кого они водятся, а заботы - потому, что они написаны на челе человека.

Диана, очень этим обеспокоенная, ждала случая, чтобы расстаться с домом старшего пастуха, но все ее здесь так любили, что ее больше стало тревожить опасение показать себя неблагодарной, нежели мысль об опасности, угрожавшей ее жизни. Но судьбе ее было угодно, чтобы произошло то, что редко случается и чего не могла ожидать Диана, привыкшая к тому, что судьба к ней всегда враждебна. Однажды герцог де Бехар, охотясь в этих местах, заночевал в доме своего старшего пастуха, о котором он слышал от своего майордома, и знал о нем еще потому, что тот посылал ему часто подарки, которыми герцог всегда был очень доволен, ибо деревенские лакомства радуют вельмож больше, чем вся роскошь и великолепие их дворцов.

Желая развлечь герцога, старший пастух послал, понятное дело, за Дианой,

которая понравилась герцогу, и попросил ее спеть что-нибудь. Пришлось студенту принести свою лютню, хотя и сделал он это весьма неохотно, так как ревность терзала его невыносимо. Диана настроила лютню и, при общем внимании, спела следующее:

Зеленеющие рощи,
Лес, любви немой свидетель,
Ваши ясени и вязы
Помнят пастуха, как прежде.

Хоть за то, что я когда-то
С вами дружен был, деревья,
Вас молю я внять с участием
Жалобам моим и пеням.

Вы услышите, дубравы,
Как я буду лютне нежной
Вторить не стихом, а вздохом
И стенаньем, а не песней.

Болен я. Нет, лгу я, выбрав
Слово робко и неверно:
Я погиб, теряя больше,
Чем приносит мне победа.

Я погиб, хоть побеждаю.
Ибо к столь высокой цели
Я стремлюсь, что жизни стоит
Мне триумф моих стремлений.

Лес и рощи, умирая
От любви к очам прелестным,
Рад я смерти, ибо вижу
В них свое изображение.

Я хочу, но не решаюсь
Описать вам их приметы;
В них, хоть смею обожать их,
Я глядеть еще не смею.

Их любя, я жизнь теряю,
Ибо жить, чтоб в них смотреться,
Мне не позволяет робость,
Мне препятствует смущенье.

Если б цвет их описал я,
Сразу догадались все бы:
"Гибнет он из-за Хасинты,
Чьи глаза ночей чернее".

Вы мне скажете: "В долине
Черные глаза нередки".
Да, но ни одним такую
Прелесть не дарует небо.

Верьте мне, густые рощи,
Я бы близок не был к смерти,
Если б предо мной так живо
Эти очи не блестели.

Лес, не одинок я, ибо
Многим выпал тот же жребий,
Многих через те же очи
Озарила жизнь надеждой.

Ибо я благодеяньем
Счел бы гибель, став их жертвой.
Горько лишь, что уж недолго
В эти очи мне глядеться,

Пусть в огонь очей Хасинты
Глянут те, кем я осмеян;
Растопить два эти солнца
Могут даже гору снега.

Был до первой встречи с ними
Сам я льдины холоднее,
Но растаяло покорно
Сердце в их лучах победных.

Эти очи не жестоки,
Доброта их беспредельна,
Если даже, лес и рощи,
Я достоин этой чести!

Я надеждою и страхом
До того уже истерзан,
Что и дня прожить не в силах,
Глаз - убийц моих - не встретив.

Их заметив, прихожу я,
Малодушный, в дрожь и трепет,
Но никто так упоенно
Не дрожал еще вовеки.

То, что больше нам знакомо,
Мы обычно меньше ценим;
Я ж, чем больше узнаю их,
Тем влюбляюсь в них сильнее.

В честь их громко оглашаю
Я поля хвалой столь лестной,
Что журчанье вод смолкает
И стихают вздохи ветра.

Становлюсь я, их увидев,
И безмолвней, и слабее,
Чем родник, чей бег сковали
В полночь ледяные цепи.

Я такую страстью полон,
Что не раз, когда согреться
Мог я зноем глаз Хасинты,
Мерз я, робкий, в отдаленье.

Если б меньше я любил их,
Был бы с ними я смелее,
Ибо чем сильнее чувство,
Тем во мне отваги меньше.

Но клянусь вам, лес и рощи,
Мне милей мои мученья
Даже той нетленной славы,
Что дарует людям небо.

Я признаюсь, что туманит
Ревность разум мой нередко.
Ибо нет любви, с которой
Не взяла бы дани ревность.

Я ревную - и не только
К пастухам, моим соседям,
Но и к камню, на который
Бросит взгляд Хасинта мельком.

Даже на себя взираю
Я с ревнивым подозреньем:
Если я ей мил - то значит,
За другого принят ею.

Я слежу за ней повсюду,
Ибо я прикован крепко
К ножкам девушки - глазами,
К сердцу - каждым помышленьем.

По пятам за ней хожу я
И молю с тоскою небо,
Чтоб оно одних уродов
Посылало ей навстречу.

Мне всегда разбить на части
Зеркало ее хотелось,
Чтобы двух Хасинт не видеть -
И одной не устеречь мне.

Но меня вы, как ни плачу,
Лес и рощи, не жалейте:
Ведь о всех своих терзаньях
Забываю я пред нею.

Наружность Дианы весьма понравилась герцогу, ко когда он услышал, как ее нежный голос с таким изяществом и искусством пропел стихи, которые мы здесь уже привели, восхищение его еще усилилось. Он спросил ее обо всем, о чем в подобных случаях спрашивают сеньоры, ибо сеньоры всегда задают много вопросов и именно поэтому так мало знают о жизни бедняков. На вопрос, откуда она родом и кто ее родители, - а это больше всего интересовало герцога, - Диана ответила, что ее воспитал в Севилье один человек, которого она называла отцом, и что раз в два месяца к нему являлся какой-то незнакомец; он приносил с собою деньги и письма и передавал ему то и другое. Это навело ее на мысль, что отцом ее был другой человек, более знатного рода и живущий далеко от Севильи. И вот однажды, когда ее названный отец был в хорошем расположении духа, она попросила его сказать ей, кто ее настоящий отец, так как знала уже, что она не его дитя, но что ни в тот раз, ни впоследствии ей не удалось ни лаской, ни услужливостью заставить его ей ответить, хотя он и обещал всякий раз сделать это завтра, клянясь, что не может открыть ей это без разрешения того незнакомца. Так, продолжая каждый день давать обещания, он заболел и когда наконец захотел открыть ей тайну, то уже не мог говорить и вскоре умер.

Оставшись одинокой и беспомощной, она не смогла овладеть никаким ремеслом, хотя готовности к этому у нее было достаточно.

Тогда она решила сделаться пастухом и навсегда поселиться в деревне, чтобы проводить время в уединении, ибо, не зная, кто ее родители, она пребывала в большой печали. Никакая другая причина не могла склонить ее к этому: ведь она хорошо понимала, что этот путь не сулит ей никаких благ в будущем.

- В этом ты ошибался, - возразил герцог, - потому что я желаю взять тебя с собою туда, где тебя будут уважать так, как ты того заслуживаешь, ибо большая жестокость твоей звезды заставляя тебя, одаренного столькими талантами, жить среди этих темных людей, и с твоей стороны было бы большой неблагодарностью по отношению к небу, если бы твои дарования не нашли должного применения или были бы вовсе скрыты.

Диана поцеловала руки герцога с учтивостью и торжественностью, которым она научилась в лучшие времена, и приняла оказанную ей милость со словами, полными скромности и благоразумия, еще увеличившими расположение к ней этого вельможи, который, приказав снабдить ее всем необходимым, увез ее вместе с собой. Трудно было бы сравнить с чем-нибудь отчаяние Сильверии, если бы не было совершенно обратного ему чувства радости, охватившего ревнивого студента, который, увидев, что Диана уезжает, был столь же счастлив, сколь несчастны были Сильверия и его сестра, отметившие ее отъезд

обильными слезами.

Можно ли сомневаться, сеньора Леонарда, в том, что ваша милость уже давно желает узнать, что стало с нашим Селио, о котором, с тех пор как он отплыл в Индии, наша новелла, кажется, совсем позабыла. Да будет известно вашей милости, что то же самое делал неоднократно и Гелиодор со своим Феагеном, а иной раз и с Хариклеей {31}, для большего удовольствия своих слушателей скрывая от них до поры до времени то, что ожидает его героев.

Селио, когда он плыл в Индии, постигла большая беда: во время разыгравшейся бури, несмотря на искусство моряков, были сорваны все канаты, тросы и прочие корабельные снасти, и сам он едва не погиб среди неумолимых и жестоких волн.

Вообразите себе общую суматоху, крики: "Взять рифы!", "Поднять флаг!", "Впереди мель!", попытки наладить порядок, обезумевший ветер, корабль, потерявший управление, и Селио, который, как и корабль, потерял управление своими чувствами. Его страшила лишь мысль о потере Дианы, представлявшейся ему солнцем Антарктики, и он повторял, словно подражая Марциалу {32}, римскому поэту, из-за которого вашей милости лучше совсем не знать латинского языка:

Волны, дайте мне дорогу,
А когда вернусь, убейте.

У божественного Гарсиласо {33} есть подражание этим строкам:

Вам не простится смерть моя, о волны.
Дорогу дайте мне, и пусть погубит
Меня при возвращении торнадо {34}.

Мимоходом я замечу вашей милости, что многие невежды, считающие себя людьми знающими, приходят в ужас оттого, что Гарсиласо, в стихах которого встречаются подобные слова, называют королем испанских поэтов. Но торнадо и другие слова, которые встречаются в его творениях, в то время были в ходу, и, значит, люди нашего века не должны столько мудрствовать и говорить, что если бы Гарсиласо родился сейчас, то он не смог бы свободно обращаться с нашим обогатившимся языком.

Но, может быть, вашей милости безразлично, что говорят о Гарсиласо? Так сказано было в одной песне, которую пели на музыкальном вечере у одного вельможи:

Любой ваш том, Боскан {36} и Гарсиласо,

Ныне стоит два реала,
Что совсем не так уж мало,
Хотя б вы к нам сошли с высот Парнаса.

Я осмеливаюсь писать вашей милости обо всем, что мне подвертывается под перо, так как мне известно, что вы не обучались риторике и потому не знаете, как осуждает она длинные отступления.

Потерпев крушение, Селио на своем корабле после столь длительной бури достиг одного острова где-то у берега Африки, куда некоторые суда заходят за пресной водой, хотя идти за ней должен целый хорошо вооруженный отряд, которому не следует забывать об опасности, потому что остров этот охраняется маврами, выдавшими много зла от испанских галер и прочих кораблей. Корабль, на котором находился Селио, настолько пострадал от бури, что не мог продолжать свой путь, и его решили починить. Путешественники и хозяин сошли на землю, и сделали они это не без радости, потому что во все времена земля была человеку родной матерью, а вода злою мачехой.

Они пообедали на траве, которая служила им скатертью, и после этого обеда, самого спокойного за все путешествие, потому что сейчас у них был устойчивый стол, хозяин корабля, зная о печали Селио, стал его упрашивать поведать ему о ее причине. Селио, обладая характером мягким и уступчивым, рассказал ему, кто он, что с ним произошло и кого он разыскивает, - так, как обычно рассказывается в комедиях, - ведь существует же один поэт, пишущий комедии, который одним махом успевает настроичить три листа романса.

- В том краю, - сказал ему хозяин корабля, - живет мой дядя, владеющий большей частью того богатства, которое я везу на своем корабле. Однажды вечером я зашел к нему, чтобы дать отчет в барышах от прошлого плавания. Получив указания касательно того, что делать дальше, я распрощался с ним, и когда почти в полночь проходил по одной из улиц, меня окликнула с балкона незнакомая мне дама и спросила, настал ли час, на что я ей ответил, что для этого любой час хорош. Тогда она спустила мне ларец, полный денег и драгоценностей, и сказала, чтобы я подождал ее у ворот. Не знаю, какой бес толкнул меня на столь бесчестный поступок, но я пустился во всю мочь бежать по улице, не дожидаясь продолжения этого приключения, потому что есть такие истории, которые развиваются благополучно до второго действия, а в третьем неожиданно кончаются очень плохо. В Севилье я заложил эти драгоценности для покупки нужных мне вещей, твердо решив при этом, что, если бог поможет мне вернуться из путешествия, то я возвращу их хозяину. Но если вам, судя по вашему рассказу, знакома эта дама, то вот ее алмаз; взгляните, может быть вы его узнаете.

У Селио, который сразу же узнал перстень, подаренный им Диане вместе с первым его письмом, перехватило дыхание; он не мог и даже не знал, что ему ответить, особенно,, когда моряк добавил, что если бы он рассказал ему обо всем в Севилье, то ему незачем было бы отправляться на поиски

Дианы, так как он знал достоверно, что она не отплыла вместе с армадой. Селио, узнавший всю правду и убитый ею, сказал этому человеку, что перстень этот был его первым подарком Диане и что незачем думать о возвращении драгоценностей, потому что дама эта была благородной особой, и его могут обвинить в грабеже, а это будет стоить ему жизни, так что пусть он не говорит никому об этом и пользуется ими, вернув ему один лишь перстень, ибо ничто другое не может его утешить. Но никакие усилия Селио - ни его просьбы, ни угрозы - не могли заставить этого варвара отдать ему перстень.

Слова разжигают ссору не меньше, чем действия; Селио и судовладелец переходили от слов к оскорблениям, пока не вышли окончательно из себя, потому что крайняя противоположность любви вовсе не разлука, не ревность, не забвение, не корысть или знатность, а ссора. Дело дошло до того, что Селио нанес хозяину корабля два удара кинжалом, которые стоили тому жизни. Люди с корабля сбежались на шум, и хотя Селио отчаянно защищался, его схватили и отвели на корабль, который, законопаченный и приведенный в порядок, отплыл с попутным ветром, увозя в индийскую Картахену {36}, закованного в цепи Селио. И пока он находился в пути, корабельный писарь составил небольшую записку обо всем случившемся, для того чтобы Селио не мог отрицать убийство хозяина корабля, так как он утверждал все время, что убил его как человека, укравшего его честь и сокровище его жизни.

В конце концов его поместили в тюрьму. Надо сказать, что в этих краях не было губернатора, и так как они были недавно завоеваны, то в них было великое множество всяких бесчинств и грабежей; они были непокорными из-за своей отдаленности и пестрыми по своему населению из-за всякого рода алчности {37}. А ведь, как сказал Плиний Старший, "самое отвратительное правительство - это то, которое потворствует толпе".

Тем временем Диана служила герцогу, который, видя, как она следит за его платьем и что она сама чисто и опрятно одевается, сделал ее вскоре своим майордомом, потому что она во всем проявляла хороший вкус и охотно исполняла его желания, а ведь никто не может хорошо служить, если не старается быть приятным тому, кому служит.

Между тем, король Испании решил завоевать Гранаду {38}, и призвал к себе грандов, среди которых герцог был не из последних. Получив королевское послание, он сразу же созвал слуг, которые должны были его сопровождать, и велел их всех одеть в дорогие и красивые ливреи. У Дианы за все время ее

службы не было более радостного дня; она решила, что, если только Селио ее ищет, то ни в каком другом месте, кроме как при дворе, он не сможет ее найти. Окружающим было так приятно видеть ее веселой, что все желали ей счастья, ибо все ее уважали за то, что с каждым она была приветлива и разумна, а это столь необходимо во дворцах, что если кто-нибудь надеется достичь высокого положения, но не ладит с другими и не умеет к ним приспособиться, то он не сможет сохранить милости своего господина, и чужая зависть будет всегда препятствовать его стремлениям.

Во время путешествия положение Дианы упрочилось, и герцог стал проявлять к ней еще большую любовь, ибо в дороге и в тюрьме всегда рождается дружба и ярче проявляются способности человека. Однажды они уже готовились тронуться в путь, и герцог попросил Диану спеть одну из тех песен, которые она обычно пела. С милой покорностью она начала:

Лес, любви приют тенистый.
Смолкни, не шуми под ветром,
Ибо вновь мои терзанья
Я хочу тебе поведать.

Лес, не сетуй, что безмолвье
Я нарушил скорбной песней,
Отдыхая от страданий
Под твоей безлюдной сенью.

Если ж ты сочтешь докучной
Эту повесть долгих бедствий,
Знай, что изливать печали
Нам не возбраняет небо.

Расскажи я об удаче.
Мы бы радовались вместе;
Будь же другом и в несчастье,
Вняв моим унылым пеням.

Ты ведь помнишь поселянку,
Чья божественная прелесть
Пламенем двух звезд, как солнце,
Озаряет все на свете?

Ту, которая умеет

Быть зверей жестокосердной
И, пронзая сердце наше,
Лгать, что это сердце зверя?

Из-за ревности к пастушке,
Мне внушавшей лишь презренье
Глупостью, и безобразьем,
И влюбленностью своею.

В ярости она рассталась
С ей наскучившей деревней.
Унося с собою радость,
Унося с собою небо.

Лес, не испытав разлуки.
Ты со мной тоску не делишь;
Нет, и ты тоскуешь, ибо
Ждешь весны четвертый месяц.

Мне ж пришлось намного дольше
Жить на склонах и в ущельях
Гор, чье пламя на свободу
Жаждет выйти из-под снега.

Лес, я опасаюсь многих
Пастухов, ее соседей,
У которых меньше чувства,
Но, наверно, больше денег.

Лес, узрев ее, ты скажешь,
Что не в силах человека
К ней не воспылать любовью,
А ко мне - враждой и мстью.

Знаю я, никто не смотрит
На нее без вожделья;
Как же верить ей могу я,
Если ревность гложет сердце?

Заживо я умираю

Из-за вечных опасений,
Что другой счастливым станет,
Чтоб меня несчастным сделать.

Я писал ей, что отныне
Предаю любовь забвенью,
Но того, кто умирает,
Не спасет обман от смерти.

Жду я, что она напишет
Мне хотя б два слова нежных,
Чтоб ее мне было можно
Умолять о возвращенье.

Но она, моей тоскою
И безумной страстью тешась,
Говорит, чтоб не питал я
На ее возврат надежды,

Чтоб не слал я ей записок,
Почитая их за вексель,
По которому уплаты
Я потребовать осмелюсь.

Вслед за ней ушел я в горы
В скорбном ожиданье встречи,
Поверяя мраку ночи
Малодушное томленье.

В хижину я к ней явился
И, заметив, что успела
Стать она еще прекрасней,
Укрепился в подозреньях.

Лес, кто любит, но в разлуке
подавить не может ревность,
Тот любви не знает, ибо
Нет любви, где нет смиренья.

Тех, кто дорог нам, мы сами

Приукрашиваем в гневе.
Веря, что владеть другому
Красотой придется этой.

Я пошел назад и клялся
Всей душой отдаться мщению,
Но, сто раз отдав ей душу,
Вижу я, что мстить мне нечем.

Все продвигались вперед, восхищенные остроумием и изяществом Дианы, которые проявлялись во всем; особенно был ею доволен герцог, решивший оказать ей милость: он уже оказал бы ее, если бы видел, что Диана не прочь жениться, потому что у него с герцогиней уже несколько раз заходил разговор о том, чтобы женить нового майордома на камеристке герцогини, которую та любила и баловала, но Диана всеми возможными способами избегала того, что было для нее невозможно.

Герцог расположился в столице со всею роскошью, подобающей такому вельможе, как он. Он часто бывал во дворце, и Диана всегда его сопровождала в его карете; она превратилась в неусыпного Аргуса {39}, стремясь увидеть на улицах или во дворах и галереях королевского дворца Селио, который, закованный в цепи, пребывал в индийской Картахене.

Король часто выходил на балкон, с которого были хорошо видны ворота замка, чтобы наблюдать через оконные стекла, как прибывают гранды.

Судьбе Дианы, которая уже устала от разных превратностей, было угодно сделать так, чтобы однажды, когда экипажи въезжали в ворота и выезжали из них, какой-то слуга допустил грубость по отношению к герцогу, и так как все, кто был с герцогом, пришли в замешательство, потому что придворными они стали совсем недавно, то Диана, к счастью упражнявшаяся когда-то со своими служанками на тех вороненых шпагах, которыми пользовался Октавио, ее брат, и Селио, мгновенно соскочила с подножки кареты и никто не успел даже оглянуться, как она нанесла оскорбителю ловкий удар кинжалом. Это вызвало общее смятение, конец которому положило властное вмешательство герцога, приказавшего Диане следовать за ним до самых дверей королевской приемной.

Король принял герцога, и так как он, говоря с ним, не переставал улыбаться, герцог спросил, что вызвало улыбку его величества. На это король ответил: "Ловкость вашего дворянина, который нанес удар кинжалом человеку, допустившему по отношению к вам дерзость". Герцог, видя, что государь в хорошем расположении духа, стал ему расхваливать и превозносить достоинства, дарования и мужество Дианы так, что король пожелал ее видеть; и

Диана предстала пред королем и поцеловала его руку. Осанка Дианы, ее изящество, скромность и непринужденность манер побудили короля попросить у герцога, чтобы тот уступил ему своего верного слугу. Герцог ответил, что, хотя он чрезвычайно им дорожит, все же с самого начала аудиенции он намеревался предложить его государю.

Ваша милость, сеньора Леонарда, вероятно, довольна улучшением в судьбе Дианы, так как она стала служить королю Испании и за несколько дней в такой мере завоевала его любовь, что в тысяче разных случаев он поступал по ее усмотрению, и постепенно через ее руки стали проходить все более значительные и важные бумаги. Но я заверяю вас, сеньора Леонарда, что Диану не радовало все это, потому что душа ее разрывалась между двумя Селио, которые были далеко от нее - один в Индиях, другой близ Пласенсии. Один - ее супруг, а другой - сын.

Дарования и услуги Дианы настолько усилили любовь к ней короля, что перед тем, как герцог покинул двор, король отблагодарил его за все, что он сделал для Дианы: по просьбе герцога король назначил его командором Алькантары {40} и пожаловал его младшему брату шесть тысяч дукатов содержания.

Красота голоса Дианы во дворце не осталась тайной, хотя в своем новом положении и при новых занятиях она старалась скрыть его. Так уже повелось, что, достигнув положения в обществе, человек отворачивается от муз, ибо ошибочно считает, что тому, кому небо даровало способность к пению, рисованию или сложению стихов, недоступны иные занятия, и говорит об этих своих способностях как о чем-то позорном. Но ведь известно, что Александр играл на лире и пел, а Октавиан сочинял стихи {41}, что, однако, не помешало первому завоевать чуть ли не всю землю, а второму поддерживать на ней мир. Сын одного знатного вельможи ухаживал за придворной дамой, которой чрезвычайно хотелось послушать пение Дианы, чья наружность и ум не были ей неприятны. С большой настойчивостью она стала просить своего возлюбленного, чтобы тот уговорил Диану спеть ей как-нибудь вечером. Диана, чтобы не навлечь его неудовольствия и полагая, что ничего не случится, если об этом узнают, около часу ночи спела на террасе следующее:

Лес, мне жизнь давала много
Поводов слагать напевы,
Случаев мечтать о славе
И причин влюбляться нежно,

Ты тоску мою узнаешь,

Ты поймешь мое блаженство,
Ибо зазвучит мой голос
Под твоей безмолвной сенью.

Лес, излить свои печали
Побоялся я в деревне,
Где подслушает их зависть.
Чтобы осквернить насмешкой.

Здесь же, в чаще, я спокоен,
Ибо, если и лепечет
Ключ, моим словам внимая,
Он забудет их мгновенно.

Долго пленником томился
Разум мой в дворцах Цирцеи,
Покоряясь безотрадно
И страдая безответно.

Как ее пороки видеть
Мог он, превращенный в зверя?
Нет, плоха любовь такая,
О которой сожалеешь!

Но владычицу иную,
Друг мой лес, избрал теперь я.
Красоту ее бессильно
Описать воображенье.

Очи - словно две картины...
Нет, сравнение неверно:
То, что дивно на картине,
В жизни лучше несравненно.

В них гляжу я и, ликуя,
Их считаю чудом света,
Ибо, словно два светила,
Эти очи чудно блещут.

В них живут два живописца,

Двое юношей прелестных.
Кем и я в очах-картинах
Был подчас увековечен.

Эти очи сообщают
Красоту двум аркам черным,
Ибо все, что рядом с ними,
Украшает их соседство.

И природой и богиней,
Украшающей в апреле
Луг и лес нарядом новым,
Пурпур губ ее расцвечен.

Алых роз, даримых маем
Смертным людям в честь Венеры,
Роза уст ее багряней;
Но она грозит мне смертью.

Эта роза - из кораллов,
А под ними - нити перлов,
И о них не я словами,
А она расскажет смехом.

Руки у нее - как мрамор,
Пальцы - как Амура стрелы:
Ведь лучи из льда бросало б
Солнце, будь оно из снега.

Я смолкаю, ибо знаю,
Что, продолжив восхваленья,
Буду принят за счастливца, -
Я же лишь безумец бедный.

Расскажи я, как возвышен
Дух в ее прекрасном теле,
То, как в зеркале, предстал бы
Всею ее рассудок светлый.

И не три, а больше граций

Появилось бы у древних,
Если бы они увидеть
Грацию ее успели.

От красы ее жестокой
Я шесть лет спасаюсь бегством.
Но с лихвой свиданьем каждым
Долг оплачен шестилетний.

Не живу, а умираю
Я от встречи и до встречи.
Я клянусь бежать и тут же
Думаю о возвращенье.

Я исполнен странным чувством -
Смесью ревности с блаженством,
Ибо к собственному счастью
Я испытываю ревность.

Я погиб, коль правдой станет
То, что мне всего страшнее,
И боюсь об этом думать.
Чтоб не пасть от страха мертвым.

К несчастью или, вернее, к счастью Дианы, ее пение услышал один придворный, пользовавшийся милостью короля, но не заслуживший расположения этой дамы. Он рассказал об этой серенаде королю и при этом всячески поносил Диану. Король, который слышал ее пение, но пропустил его мимо ушей, составил приказ, обрадовавший многих придворных, осуждавших предпочтение, которое он оказывал Диане, ибо причиной его не были ни благородное ее происхождение, ни заслуги на мирном или военном поприще. Король знал о множестве беспорядков, происходящих в Индии, и ему было известно, что при дворе начали завидовать Диане, по-прежнему называвшей себя во дворце Селио, за то, что их клевета не лишила ее королевской милости; поэтому он назначил ее правителем и генерал-капитаном всех недавно завоеванных владений и поручил ей наказывать преступников, повинных в убийствах, о которых каждый день в Испанию приходили донесения. Диана не могла отказаться от этого назначения и, поцеловав руку своего государя, вместе с его срочными распоряжениями и необходимым количеством людей отбыла из Вальядолида {42} в Севилью, где стояла армада и собирались люди, желавшие

отплыть на ней, и так как уже дошли слухи о невиданных сокровищах той земли, то таких желающих было бесчисленное множество.

Диана проезжала через Толедо, свою родину, и так как там новость взволновала всех дам и кавалеров, то весь город вышел, чтобы посмотреть на нового вице-короля, красота и необыкновенный ум которого славились во всей Кастилии. Вышел на улицу и брат ее Октавио, и когда Диана увидела его среди множества других людей, она залилась слезами, задернула занавески своей кареты и, бросившись на подушки, едва не потеряла сознания. Она не захотела останавливаться в Толедо, и когда город почти скрылся из глаз, открыла окно и, горестно вздыхая, стала смотреть на родные стены.

Уже в Севилье судьба Дианы стала к ней добрее; послав благоприятную погоду, она помогла ей добраться до желанной земли, - где ее встретили приветственными возгласами испанцы и индейцы. Зная, что следует почитать и бояться того, кто наказывает и награждает, а также видя незапятнанность ее рук и твердость ее суда, а возможно, еще и потому, что она казалась им человеком юным и целомудренным, они прозвали ее солнцем Испании.

Многих, тщательно разобрав их дела, она отправила в Испанию, других велела лишить жизни и в полной тайне похоронить в могиле моря, если только оно было в тех местах. Наконец Диана прибыла в Картахену. Обходя тамошние тюрьмы, она обнаружила в одной из них Селио, и хотя он сильно похудел и изменился в лице, она его сразу узнала, потому что любовь, живя в крови, мгновенно приливает к сердцу и сообщает правду душе. Диана должна была не показывать свою радость, но лишь с трудом смогла она ее скрыть. Она спросила о причине его заключения и хотела освободить его, но два брата убитого - богатый купец и воинственный капитан корабля, которые до тех пор держали его в тюрьме под следствием, - подняли шум и стали взывать к справедливости, что сделало невозможным для Дианы выпустить задержанного на свободу. Тогда она приказала всем выйти из комнаты и велела, чтобы он сам рассказал ей обо всем случившемся, дав ему слово дворянина облегчить, насколько возможно, его участь, если только он скажет правду. Селио, почувствовав - и весьма основательно, - что вице-король проникся к нему большим расположением, хотя об истинной причине этого он и не догадывался, подробно рассказал ему обо всем, что с ним случилось: о своей толедской любви, об исчезновении Дианы, о том, что он испытал, пустившись ее разыскивать, в том числе и о том, что человек, которого он убил, оказался вором, укравшим ее драгоценности. Он объяснил, что, так как человек этот не пожелал вернуть ему алмаз, бывший первым залогом его любви, это привело его в исступление и продолжило цепь его несчастий. Диана смотрела на Селио и еле сдерживала слезы; но сердце ее обливалось кровью, как залили бы слезы ее лицо, если бы

она была одна.

Она велела увести Селио и тайно приказала своему дворецкому, чтобы его окружили заботливым уходом. Каждый день она беседовала с ним и каждый раз просила его рассказать ей свою историю, и это чрезвычайно удивляло Селио, заметившего, что вице-король не хочет, чтобы он говорил с ним о чем-либо другом.

Закончив все, что она должна была сделать в этой стране, - наказав виновных и раздав верноподданным заслуженные награды, как ей предписал король в своих приказах и распоряжениях, Диана, видя, что ни уговоры, ни деньги не могут смягчить родственников покойного судовладельца, велела поместить Селио на своем адмиральском корабле и под видом арестованного увезла его с собой, обедая и играя с ним в карты в течение всего путешествия.

Диана застала короля Испании в Севилье; она поцеловала его руку, сопровождаемая большой свитой, в которой находился и Селио; с ним, правда, было несколько стражников.

Я думаю - и, мне кажется, я не ошибаюсь, - что ваша милость считает меня плохим новеллистом, потому что, хотя Селио столько раз о себе рассказывал Диане, она, несмотря на все перенесенные испытания и злоключения, так-таки ни разу не открылась ему. Но я прошу вас, сеньора, ответить мне: если бы Диана себя ему выдала и порыв страсти бросил их друг другу в объятия, то как бы этот вице-король мог добраться до Севильи?

Многие к тому же уверяют, будто люди, заметив, что они беседуют все время наедине, стали на этот счет перешептываться. Было доложено королю, и тогда Диана вынуждена была открыть, кто она такая, - и злые языки были посрамлены. Известно, во всяком случае, что среди милостей, которые она исходатайствовала у короля за свою службу в Индии и ее умиротворение, было помилование Селио. Вслед за тем она попросила, чтобы король заставил его выполнить свое обещание жениться на ней, что поразило короля, всех его придворных и Селио, узнавшего наконец, что губернатор был его прекрасной женой, которая стоила ему столько слез и испытаний.

Велики были милости, которыми их осыпал король, и великолепны празднества, устроенные в честь их свадьбы, но не меньше была их радость, когда они увидели своего сына, за которым были посланы доверенные лица. Пастушка привезла им его, одетого в грубый наряд подпaska, но лицо у него было прелестное, и густые кудри спускались до самых плеч. Радость наших влюбленных, отдыхающих в объятиях счастья, ваша милость, обладающая большим воображением, может себе представить; возможно даже, что ваше воображение сделает ее еще сильнее.

А я тем временем отправлюсь в Толедо, чтобы сообщить добрую весть

Лисене и Октавио, потому что на этом заканчиваются приключения прекрасной Дианы и верного Селио.

МУЧЕНИК ЧЕСТИ

Я опасаясь, ваша милость, что меня постигнет участь тех заимодавцев, которых, вернув им маленький должок, сразу же просят ссудить более крупную сумму денег, на этот раз уже, чтобы не вернуть. Ваша милость приказала мне сочинить для нее новеллу: я вам поднес "Приключения Дианы", и вы так мило выразили свою благодарность, что мне сразу же стало ясным ваше желание получить от меня нечто большее. Видно, я топа не ошибся, раз теперь ваша милость приказывает мне написать целую книгу новелл, - как если бы для меня не составляло ни малейшего труда согласовать род моих занятий с желанием повиноваться вам. Но раз уже я решил этим делом заняться, то постараюсь выполнить если не все, то хотя бы частицу приказанного мне вами, не без опасения, что на этот раз ваша милость останется передо мной в долгу. Но в то время как я исполнен недоверия к своим силам и подвергаю принуждению мои склонности, влекущие меня к занятиям более серьезным, меня, подобно маяку, указывавшему путь Леандру {1}, озаряет лучезарное пламя приносимой мною жертвы, пламя более могучее, чем любые трудности. И сколько бы меня за мое решение ни упрекали, я отвечу, что людям почтенного возраста весьма свойственно рассказывать назидательные истории как о том, что они видели сами, так и о том, что слышали от других. Лучшим подтверждением этого могут служить у греков Гомер, а у римлян - Вергилий; их пример для меня особенно убедителен, - ведь речь идет о королях двух лучших в мире языков. Правда, если говорить о нашем, христианском языке, то я мог бы привести в свое оправдание тоже немало примеров. Но я должен чистосердечно признаться вашей милости, что, по-моему, язык этот в наши времена настолько изменился, что я не решусь даже просто сказать, что он только возмужал и обогатился, и незнание его настолько меня смущает, что, стесняясь прямо сказать, что я его не знаю и что должен ему обучаться, я последую примеру одного старого крестьянина. Деревенский священник сказал этому крестьянину, что не отпустит ему грехов, потому что тот забыл молитву "Верую" и не может прочесть ее наизусть. Старик этот, помимо прочих крестьянских качеств, с детских лет обладал также благородной застенчивостью. И потому, ни к кому не желая обращаться с просьбой обучить его этой молитве, с опасностью вдобавок нарваться на человека, который и сам не силен в ней, он пустился на хитрость. Через два дома от него находилась школа; и вот старик сел у порога своего

дома, и, когда дети, окончив уроки, проходили мимо него, он показывал им монетку и говорил: "Это получит тот из вас, кто лучше других прочтет "Верую". Каждый читал молитву, и старику столько раз пришлось выслушать ее, что он получил право называться добрым христианином, запомнив ее наизусть. Мне кажется, ваша милость подготовлена этим примером к плохому моему стилю и к длинным разглагольствованиям о вещах, не относящихся к делу. Но отныне вам придется вооружиться терпением, ибо в такого рода повествованиях неизбежно встречается всякая всячина, какая только попадает под перо, и хотя литературные правила и страдают от этого, слух вовсе этого не замечает. Ибо я собираюсь воспользоваться как предметами возвышенными, так и обыденными, различными эпизодами и отступлениями, историями правдивыми и вымышленными, обличениями и назиданиями, стихами и цитатами, - для того чтобы стиль мой не был ни чрезмерно возвышенным, то есть способным утомить людей недостаточно ученых, ни лишенным всякого искусства, то есть способным вызвать презрение людей сведущих. Сверх того, я полагаю, что правила для новелл и комедий одинаковы и что цель их - доставить удовольствие и автору и публике, хотя бы высокое искусство немного и пострадало при этом; таково было мнение и самого Аристотеля {2}, высказанное им, правда, мимоходом; а на случай, если ваша милость не знает, кто был этот человек, то да будет вам известно, что он не знал по-латыни, так как говорил на языке своих отцов, а родом был он из Греции.

После этого предуведомления, заменяющего пролог настоящей повести, ваша милость познакомится с судьбой одного из наших соотечественников, столь одержимого мыслью о своей чести, что, если бы конец его судьбы ничем не отличался от начала, сострадание побудило бы предать его забвению и перо не потревожило бы молчания о нем.

В одном славном городе, входящем в толедскую епархию, настолько значительном, что он имел свое представительство в кортесах, жил юноша, одаренный талантами и приятной внешностью, а также весьма благонравный и разумный. В ранней юности родители послали его учиться в знаменитую академию, основанную доблестным покорителем Орана, братом Франсиско Хименесом де Сиснерос {3}, кардиналом Испании, великим воителем и писателем, умевшим быть и суровым и смиренным, оставившим о себе столько воспоминаний, что они проникли даже в самые глухие уголки нашей страны. Фелисардо, - так мы будем называть этого юношу, героя нашей новеллы, - проучившись несколько лет на факультете канонического права, по некоторым причинам изменил свои намерения и, отправившись ко двору Филиппа Третьего, прозванного Добрым, был принят на службу в дом одного из грандов, наиболее прославленных в нашем королевстве как вследствие знатности, так и

по причине своих личных достоинств. Фелисардо был настолько приятен лицом и манерами, скромен в словах и смел в делах, что обратил на себя внимание этого вельможи и приобрел немало друзей, со многими из которых и сам я, случалось, проводил время. Вот уж я и совершил ошибку, признавшись, что описываю события наших дней, так как говорят, что это весьма опасно: ведь может случиться, что кто-нибудь узнает изображенных здесь лиц и разбранит автора, хотя бы имевшего самые добрые намерения, ибо нет человека на свете, который не хотел бы считаться по происхождению готом, слыть по уму Платоном, а по храбрости - графом Фернаном Гонсалесом {4}. Так, сочинив комедию "Взятие Мастрихта" {5}, я при постановке ее поручил роль одного офицера какому-то невзрачному актеришке. После представления меня отвел в сторону некий идалго и с весьма раздраженным видом заявил, что я не имел права поручать эту роль плюгавому и с виду трусливому актеру, ибо его брат был весьма мужественным и красивым человеком. А посему я должен либо передать эту роль другому, либо встретиться с ним в отдаленной аллее Прадо {6}, где он будет меня ждать с двух часов до девяти вечера.

Не желая разделить участь сыновей Ариаса Гонсалеса, я исполнил требование этого нового дона Диего Ордоньеса {7} и, передав роль другому актеру, попросил его держать себя молодцом на сцене, в результате чего мой идалго тоже поступил как молодец, прислав мне подарок. Рассказчику истории Фелисардо такая опасность не угрожает, потому что плачевная судьба его не связана с рассказом о судьбе других лиц, и кровавый исход ее никого больше не коснулся.

Но вернемся, сеньора Марсия, к нашей новелле. Желание покрыть себя славой и увидеть прекрасную Италию увлекло нашего юношу в одно из королевств, принадлежащих там нашему государю, где он поступил на службу к одному принцу, превосходно управлявшему теми краями от имени его величества. Как только этому вельможе привелось иметь дело с Фелисардо, он сразу же обратил на него свое благосклонное внимание, стал оказывать ему милости и почтил его своим покровительством, не вызывая этим зависти у других своих слуг, что так редко бывает. И в самом деле, в прежалостном положении служащего я не нахожу ничего горшего, чем то, что выражено в пословице: "Кого любит господин, того ненавидят слуги", из чего следует и обратное: чтобы слуги вас любили, господин должен держать вас в черном теле. Но добродетель Фелисардо, его миролюбивый нрав, желание угодить каждому, обыкновение говорить хозяину об отсутствующих слугах только хорошее и просьбы к нему относиться как ко всем победили своей благородной новизной жестокие обычаи службы. Свои досуги Фелисардо иной раз тратил на то, что писал стихи к одной местной даме, столь же прекрасной, как и разумной, к

которой он питал склонность, и она глазами показывала ему, стоящему перед ее домом, что принимает его поклонение. Вашей милости нетрудно будет поверить, что наш юноша был поэтом, ибо жил он в наш плодороднейший век произрастания подобного рода овощей, упоминаемых в сборниках предсказаний и альманахах наряду с урожаем бобов, чечевицы, ячменя, пшеницы и спаржи, ибо там предсказывается, сколько в таком-то году народится поэтов. Не будем спорить о том, был ли он изысканным поэтом и в силах или не в силах наш язык вынести его стихотворную грамматику, ибо ваша милость не принадлежит к числу тех особ, которые в великий пост встают спозаранку, чтобы прослушать премудрую проповедь, да

и я не из тех, что пускаются в длинные рассуждения, чтобы прослыть знатоками, принимая желаемое за действительное и предоставляя истинному автору разумение и защиту написанного им. Но мне кажется, что ваша милость хочет сказать: "Если в голове у этого юноши сложился сонет, то чего же вы мне морочите голову?"

Так вот же вам этот сонет:

Кто вас узрел, тот любит, но в смиренье
Достойным счастья не сочтет себя;
А кто на вас взирает не любя,
Тот недостоин ни любви, ни зренья.

Не душу вам - сто душ без сожаленья
Я б отдал, об утрате не скорбя,
Чтоб не считали вы, меня губя.
Мою любовь себе за оскорбленье.

Раз те, кто вынес пытку ожиданья,
Всегда бывают вознаграждены,
От вас я ожидаю воздаянья.

Но если этим вы оскорблены,
Месть поручите моему желанью,
И большего желать вы не должны.

Служанка, по просьбе Фелисардо, передала этот сонет сеньоре Сильвии, достойнейшей даме, обладавшей всеми качествами, которые делают молодую женщину совершенной. Юношу привлекло к ней то, чего он был лишен сам: у Сильвии были очень светлые волосы и ослепительно белая кожа, он же, хотя и не был черен как уголь, все же был достаточно смугл и черноволос, чтобы его

уже издали можно было признать за испанца. Таким-то образом, пописывая стишки, чего ему никто не мог запретить, и выражая в них несколько больше того, что он в действительности чувствовал, Фелисардо продолжал свои ухаживания, и Сильвия относилась к этому благосклонно, хотя знатное ее происхождение и заставляло ее отчасти скрывать свои чувства.

Ей было до того приятно поклонение этого юноши и то, что он еще до рассвета появляется перед ее окном, что она украдкой вставала с постели, чтобы тоже взглянуть на него. Не желая прерывать наш рассказ об этой любви, мы еще ни разу не упомянули о достойнейшем кабальеро этого города, по имени Алехандро, плененном красотою названной дамы. Так как Сильвия не испытывала к нему особенной склонности, то ему представлялось, что нет в мире человека, достойного ее любви. Вот почему он не обращал внимания на Фелисардо, хотя и заставлял его чаще, чем хотел бы, прильнувшим к решетке ее окна, причем казалось, что в этой новой манере вести разговор Фелисардо имеет успех. Нашему герою пришлось не по вкусу влюбленность Алехандро, ибо этот кабальеро был недурен собой, хотя и был белокур и белолиц, - свойства настолько обычные в этой стране, что они там не считаются достоинствами. В конце концов оба они решили даже по ночам не покидать поля битвы, следя друг за другом с помощью дозорных.

Алехандро почувствовал, что положение Фелисардо прочнее, чем его собственное, и в душу к нему закралась ревность, ибо любовь, как справедливо заметил Проперций {8}, никогда не ограничивается одной только любовью; душевное спокойствие и скромность покинули его, и, став более решительным, чем прежде, он однажды вечером привел с собой к дому Сильвии несколько превосходных музыкантов и приказал им спеть под ее окном как можно нежнее:

Я желаньем невозможным
Годы так опережаю,
Что они уже не в силах
Исцелить мои терзанья.

Словно в небе бесприютном.
По родной земле блуждая,
Я, заблудший, тщетно силюсь
За своей мечтой угнаться.

Хоть меня обманет время,
Рад я этому обману:
Он несчастному приносит

Много меньше зла, чем счастья.

Любовь, ты бред безумный, но прекрасный,
И люди в нем винить меня не властны.

К неосуществимой цели
Я иду, презрев усталость,
Хоть растрчиваю тщетно
И шаги и упования.

Я в несчастьях бодр и весел.
Ибо, как они ни страшны,
Для меня всего страшнее
То, что я несчастен мало.

Рад я, что печалюсь, ибо
Мне печали не опасны:
Ведь, гонясь за невозможным,
Огорчений не считаешь.

Любовь, ты бред безумный, но прекрасный,
И люди в нем винить меня не властны.

Повелительницы дивной
Незаслуженно желая,
Я в желанье этом дивном
Вижу для себя награду.

Так пред ней я преклоняюсь.
Что, достигнув обладанья
(Будь возможно это чудо),
Я из-за него страдал бы.

Только для нее, прелестной,
Захотел и я той славы,
Что снискать влюбленный может
Одиночеством печальным.

Любовь, ты бред безумный, но прекрасный,
И люди в нем винить меня не властны.

Фелисардо тем временем не дремал; осторожно подкравшись, он узнал автора стихов и музыки, красота которых вызывала в нем еще больше ревности, чем то, что их осмелились пропеть перед окном Сильвии. Звук шагов Фелисардо вызвал гнев Алехандро, которому весьма не понравилось такое непрошенное любопытство. Желая узнать, что это за человек, хотя изящество походки достаточно его выдавало, он сделал вокруг незнакомца два круга, или, если вам угодно, два вольта, как говорят итальянцы. Фелисардо, еще не искушенный в вопросах чести, которая для него сводилась лишь к одной надменности, заносчиво обозвал Алехандро невежей, на что тот ответил:

- Je non son discortese, voj si, che avete per due volte fatto sentir al mondo la bravura degli vostri mostacci.

Должно быть, ваша милость бранит меня на чем свет стоит, ибо для того, чтобы сказать: "Не я невежа, а вы, потому что вы два раза показали нам ваши свирепые усы", не было необходимости терзать ваш слух скверным тосканским языком. Но ваша милость напрасно так полагает, ибо язык этот приятен, богат и достоин всяческого уважения, а многим испанцам он весьма пригодился, так как, цлохо зная латынь, они переписывают и переводят с итальянского языка все, что им попадает под руку, а потом заявляют: "Переведено с латинского на кастильский". Но смею заверить вашу милость, что я не часто буду прибегать к этому, если только не забуду свое обещание - память-то у меня плоховата. Если же у вашей милости память получше, то вы должны помнить, из-за чего поссорились два наших влюбленных. А надо вам сказать, что Фелисардо не терпел, когда с ним заговаривали о форме его усов или о его уходе за ними; правда, в те времена еще не было наусников из надушенной кожи, которыми пользуются сейчас и которые либо придают усам пышность, либо загибают их кверху. Эти наусники продаются в аптеках и известны под названием: *vigotorum duplicatio* {Удвоение усов (лат.)}, - это вроде того, как мы в шутку говорим о толстяке, что у него "двойной подбородок". Но все же Фелисардо уделял своим усам некоторое внимание, и так как они загибались кверху уже от одного закручивания пальцами, то он называл их послушными.

Отступив на шаг, как делает человек, готовясь перейти в наступление, он сказал своему противнику, повысив голос, ибо раздражению неведомы полутона:

- Кабальеро, я испанец и слуга вице-короля, эти усы я привез из Испании для украшения собственной персоны, а не для того, чтобы пугать ими трусов, - серенада же ваша докладывает моим ушам, что вы трус.

Алехандро ему ответил:

- Издали слышит серенаду лишь тот, у кого длинные уши, и, слушая ее,

считает незнакомых ему людей трусами. Но здесь найдется человек, способный отрезать их двумя взмахами кинжала и, чтобы они послушали ее вблизи, пригвоздить их к инструментам.

Услышав эти дерзкие слова, Фелисардо воскликнул:

- Моя шпага вам за меня ответит! - И, ловко выхватив ее из ножен, прикрыв руку плащом, он решил доказать, что не потерпит шуток над своими усами. Музыканты тотчас же разбежались, ибо инструменты обычно мешают им драться, хотя, разумеется, не всем. Я, например, знавал одного, который одинаково хорошо владел как шпагой, так и струнами. Однако музыкантам может служить оправданием желание уберечь свои инструменты, ибо величайшей глупостью было бы рисковать тем, что приносит им хлеб насущный. А кроме того, надо еще учесть, что поющему не свойственно гневаться и что их пригласили сюда не для того, чтобы драться, а для того, чтобы делать горлом разные движения; но ведь бегство тоже есть движение, только осуществляемое при помощи ног, ибо если мы посмотрим на танцоров, то увидим, что ноги их не лишены ритма и гармонии, которые справедливо считаются основой всякого музыкального искусства. Из этого следует, что нужно уважать господ музыкантов, поющих на нашем языке, так как уже одно то, что они могут рассердиться и перед всеми спеть плохое про своего обидчика, может, подобно пушечному ядру, убить человека.

Слуги Алехандро встретили грудью врага, обрушившись вчетвером на одного. Не будем подвергать сомнению их смелость. Вспомним, что Карранса {9} в своей книге "Философия шпаги" говорит: "Бывают люди столь малодушные, что одному смельчаку нетрудно бывает справиться с целой толпой их". И немного дальше он пишет: "Когда человек сражается со своим противником один на один, мы можем сказать, что он сражается, но если он имеет дело с двумя или тремя противниками, то сражаются с ним они, а он только обороняется". Развивая эту мысль, мы скажем, что четыре движения могут повести к четырем ранам, притом в разных непредусмотренных местах, и что один атакованный не может устоять против четырех нападающих; существует же латинская поговорка, гласящая, что с двумя зараз и Геркулесу не справиться. Кончая на этом мое рассуждение и порядком утомив вашу милость вещами, столь мало относящимися к делу, хотя мне они и по вкусу, я спрошу себя: почему бы мне не вообразить, что ваша милость - особа достаточно воинственная и что, если бы вы находились рядом с Фелисардо, который почти что ваш земляк, оказавшийся на чужбине, то, видя, как сильно он влюблен и как он хорош собою, вы пожелали бы помочь ему, хотя бы испуская громкие крики?

В данном случае крики были столь громки, что прибежала ночная стража и Фелисардо спасся от той опасности, которая грозит испанцам во всей Европе со

стороны толпы. Мало того, он не был даже ранен, между тем как сам успел ранить Алехандро и двух его слуг. Стража привела его к вице-королю, который еще не ложился спать, потому что в эту ночь он писал донесение в Испанию. Он окинул Фелисардо гневным взглядом, выразил альгвасилу, или, как их там называют, капитану, большую благодарность за его рвение, а затем приказал надеть кандалы на Фелисардо и заковать в цепи в его присутствии. Но когда они остались одни, вице-король соизволил снять с него оковы и надел на него золотую цепь стоимостью в сто пятьдесят эскудо, - из тех, что называют орденовыми (вы видите, я такой дотошный рассказчик, что не хочу, чтобы у вашей милости осталась хоть тень сомнения в том, сколько эта цепь стоила), а затем попросил его рассказать обо всем, что произошло. Наместник его величества с большим удовольствием выслушал рассказ Фелисардо. После того как Алехандро выздоровел, вице-король велел позвать его во дворец и прошел вместе с ним в комнату Фелисардо, которого для этого случая снова заковали в цепи. Затем он спросил Алехандро, какому наказанию он хотел бы подвергнуть своего противника, прибавив, что, если даже он потребует выслать его в Испанию, желание его будет исполнено. Поняв из этого, что вице-король желает добиться от него примирения с противником и что если он не пойдет на это, то навлечет на себя немилость наместника, Алехандро решил быть благоразумным и протянул руку Фелисардо, который, после того как он ранил своего соперника, каждую ночь виделся и разговаривал с Сильвией, ставшею после всего случившегося еще более к нему благосклонной. От нежных взглядов и невозможности осуществить свои желания любовь их все разгоралась, но они были вынуждены довольствоваться долгими ночными беседами - теми, от которых пострадала честь стольких женщин и погибло столько семейств.

Они поклялись сочетаться браком, в случае если вице-король даст Фелисардо какую-нибудь высокую должность, что для знатности Сильвии было необходимо. А так как Амур подобен купцу, который берет займы без намерения когда-либо расплатиться, то всякий влюбленный кавалер готов принять все, что ему предлагают займы, хотя расплатиться за это его могут заставить только по суду. Итак, Сильвия раскрыла Фелисардо свои объятия, в которых до сих пор всем отказывала, и вскоре ей пришлось расстаться с тем, что до сих пор она тщательно оберегала.

Невозможно передать словами, с какой радостью встречались любовники, видевшие себя в мечтах уже супругами, как клялся ей Фелисардо и как Сильвия ему верила. Поскольку каждый человек, как говорит философ, прежде всего любит самого себя, он, хоть и сомневается, но верит клятвам другого, питающим его любовь, ибо, как бы ни был влюблен человек, себя он любит еще сильнее. Вот почему, если кто-нибудь скажет вашей милости - вещь

маловероятная, - что он любит вас сильнее, чем самого себя, то вы можете ему ответить, что Аристотель считает это невозможным {10}, а что ваша милость ценит этого философа больше, чем Плиния, ибо он во многих вопросах ближе к истине.

Судьба бывает благосклонна к купцам и беспощадна к фаворитам, она сурова с мореплавателями и ветрена с игроками; к любовникам же она может быть, смотря по обстоятельствам, и благосклонной и беспощадной, и суровой и ветреной. И вот, когда они наслаждались этим покоем, этим союзом, любовью, надеждами и сладостным обладанием друг другом, им суждено было разлучиться в силу самого удивительного случая, какой когда-либо бывал в судьбе человека и какой только можно было себе вообразить. Не сказав ни слова Сильвии и не извинившись перед ней, Фелисардо испросил разрешения вице-короля на поездку в Неаполь по какому-то своему делу и покинул Сицилию. Как! Я проговорился и назвал место действия? Ну так что же? Хотя сюжет новеллы и основан на вопросах чести, она не станет хуже, даже если личность героя будет установлена; я буду только доволен, если ваша милость не услышит таких вещей, в которых можно сомневаться. Ведь новеллы - это не культистские стихи {11}, слушая которые приходится утомлять свою голову, чтобы понять их смысл, а когда постигнешь его, то оказывается, что то же самое можно было сказать и короче и лучше.

Когда Сильвия узнала об отъезде этого человека, так жестоко и низко посмеявшегося над ее любовью и честью, над драгоценностями и подарками, которыми они обменялись, она принялась безутешно плакать. Несколько дней она ничего не ела, и красота ее стала постепенно вянуть, а жизнь потеряла для нее всякий смысл. По ночам она выходила вместе со своей верной служанкой Альфредой в сад, смотрела на море сквозь решетку (счастье еще, что была решетка!) и горько жаловалась: "О бессердечный испанец, жестокий, как и твоя родина! О самый лживый из людей, превосходящий жестокостью Вирено, герцога Селаудии {12} (как видно, эта дама хорошо знала Ариосто), и всех тех, кто, забыв свое благородство и долг, соблазнили достойных и невинных женщин, а потом бросали их. Куда ты скрылся, отняв у меня и самого себя и мою честь? Ведь только ты один мог бы мне возратить ее. Ты бессовестно скрылся, и у меня теперь нет никого, кто бы мог вернуть мою честь, так как залог любви, который ты мне оставил, отнимает у меня даже тень ее, и только смерть может спасти меня. Я не могу поверить, что ты не понимаешь своей жестокости, и уже одна эта мысль лишает меня жизни. Кто бы мог подумать, дорогой мой Фелисардо, что твое красивое, застенчивое лицо, твоя изящная и стройная фигура скрывают столь жестокую душу и столь черствое сердце! Неужели ты испанец, о враг мой? Нет, это невозможно, ибо я слышала и читала,

что никакая нация в мире не любит так нежно женщин и не бывает настолько склонна жертвовать ради них жизнью. Но если какая-то необходимость, мне неизвестная, принудила тебя уехать, то почему ты мне ничего не сказал? Тогда наша разлука убила бы меня еще скорее, но смерть была бы менее мучительна. Мне трудно поверить, о бессердечный испанец, что еще вчера ты был в моих объятиях и клялся, что ради меня готов отдать тысячу жизней, а сегодня уехал, лишив меня той единственной, которую мне подарил! Увы мне! Быть может, ты сейчас смеешься над моими слезами, издеваешься над моими ласками и оскорбляешь порывы моей души, причиной которых послужила не моя распущенность, а твое благородство, не мое легкомыслие, а несчастная моя судьба. Наверное, ты сейчас рассказываешь другой, более счастливой, чем я, хотя и ей, без сомнения, суждено скоро стать такой же несчастной, как я, о безумствах, которые я совершала в твоём присутствии, и о страданиях, которые ты мне причинил. Пусть же смеется надо мной та, которая сейчас тебе внимает и верит твоим речам, ибо скоро мы будем вместе проклинать тебя, и, узнав, каков ты, она меня не осудит за то, что я любила тебя, и пожалеет меня, потому что я еще люблю тебя". Эти и многие другие подобные слова говорила Сильвия, горько плача, между тем как Альфреда всячески пыталась смягчить ее отчаяние, вызванное доводами разума и несчастной ее судьбой.

А тем временем Фелисардо прибыл в Неаполь - город, как вашей милости, наверное, известный, славящийся своей красотой и богатством и где живет больше испанцев, чем во всей остальной Италии, с тех пор как Великий Капитан дон Гонсало Фернандес де Кордова {13}, прогнав оттуда французов, присоединил его к испанской короне. Этот подвиг его, наряду с другими его заслугами, будут вечно помнить грядущие поколения, хотя один современный писатель, более завистливый, чем красноречивый и ученый, написал книгу "Вести с Парнаса" 14, вообразив, что его скудный авторитет может набросить тень на имя, величие которого признают даже варварские народы.

Не буду описывать подробно печаль, в которой пребывал Фелисардо, находясь в этом городе, ибо душевное состояние его легко себе представить. Он решил написать письмо вице-королю, где изложил истинные причины, заставившие его покинуть Сицилию. Великодушный правитель получил это письмо и был весьма поражен, узнав его содержание. Не знаю, удивится ли ваша милость, но письмо это гласило:

"Уезжая из Сицилии, я не сообщил вашей светлости подлинной причины моего отъезда. Мне было стыдно признаться в ней, и даже сейчас, когда я один, бог видит, как пылают мои щеки и как на глазах закипают слезы. Когда я находился на службе у вашей светлости, совершенно не подозревая, какое великое несчастье на меня обрушилось, мои родители известили меня, что их

имена внесены в новый указ короля нашего Филиппа Третьего касательно морисков {15}. Я никогда раньше не имел об этом ни малейшего понятия и считал себя кабальеро и идальго, держась на равной ноге с другими лицами такого звания, ибо мои предки перешли в христианство еще во времена покорения Гранады католическими королями {16}. Родители уверяют меня (надеюсь, они меня не обманывают), что род наш ведет начало от Абенсераджей {17}, чем я могу гордиться и в чем источник моих несчастий. Вот почему, ваша светлость, я счел себя обязанным, к моему глубочайшему сожалению, покинуть ваш дом, ибо я искренне предан вам и полагаю, что в нем не может жить человек, которому ежечасно могут бросить в лицо оскорбление. Как бы я ни старался гнать эту мысль от себя, стыд и отчаяние не дали бы мне ни минуты покоя, особенно там, где обо мне утвердилось хорошее мнение. Пусть ваша светлость извинит меня и поверит, что я не осмелился бы написать вам, если бы не был уверен, что покончу счеты с жизнью еще до того, как это письмо попадет в ваши руки". Письмо это глубоко взволновало благородного правителя. Несколько дней он обдумывал его и наконец ответил так:

"Фелисардо, вы мне служили столь верно и все ваши поступки были столь сообразны с законами чести, что я не могу не уважать и не ценить вас. Человеку рождение не прибавляет заслуг и не отнимает их у него, ибо оно не зависит от его воли, но за свои поступки, как хорошие, так и дурные, он полностью отвечает сам. Чтобы сделать мне приятное, вернитесь в Сицилию. Клянусь вам жизнью моих детей, что буду оказывать вам еще большее уважение, чем делал это доселе, и сочту долгом своей чести отражать любые нарекания на вашу. Вы - подлинный кабальеро, и я не понимаю, почему вы должны были уехать, между тем как принц Фесский {18}, не имеющий с этим благородным званием ничего общего, служит его величеству в Милане, нося на груди знаки ордена Сант-Яго. Более того - король Филипп Второй и сеньора инфанта, правительница Фландрии, настолько уважали его, что первый снимал перед ним шляпу, а вторая делала ему реверанс. Ибо различие рас не затрагивает благородства происхождения, особенно у лиц, подобных вам, предки которых уже так давно исповедуют нашу истинную религию. Возвращайтесь же, Фелисардо, в мой отряд, начальником которого я вас сделаю, и вы будете около меня в большей безопасности, чем где бы то ни было, и я постараюсь вас женить как можно лучше, и вы сможете жить при мне до тех пор, пока вы сами не захотите покинуть меня, или того потребует служба его величеству".

Фелисардо получил это письмо, собственноручно написанное великодушным принцем, - поступок достойный его высокого благородства, - и, проливая чад ним слезы, и с жаром несколько раз поцеловав подпись, решил ответить следующим образом:

"Великодушный и щедрый принц, когда я уехал от вашей светлости, мной овладело страстное желание чем-либо проявить свою доблесть. Я высоко ценю милости и благодеяния, оказываемые вами мне, и глубоко признателен за них. Ваши слова будут кровью запечатлены в моей душе. Сейчас я еду в Константинополь, где, видимо, уже находятся мои родители: как люди благородные, они не пожелали оставаться в Испании и вспоминать о ней больше, а потому избрали местом своего пребывания столицу этой империи. Оттуда я вам сообщу, какое приму решение для того, чтобы совершить подвиг во имя бога, короля и родины. С первых дней моего пребывания в Палермо (этого я никому никогда не рассказывал) я служил сеньоре Сильвии Менандра, любил ее и обладал ею. Мне кажется, что у нее под сердцем остался залог моей несчастной любви. Умоляю вашу милость передать ей это письмо так, чтобы не опорочить ее доброе имя, и прошу вас принять под свое покровительство младенца, который родится, так, как если бы сама судьба положила его к стопам вашего милосердия".

Написав это письмо, отчаявшийся и сумасбродный юноша сел на корабль. Я, конечно, не могу одобрить его поступка, ибо, находясь на службе у благородного принца, он мог бы быть в безопасности даже в Испании, а в итальянских владениях его величества ему и подавно нечего было бы опасаться, ибо государь наш намеревался изгнать морисков лишь из Испании, где они собирались восстать, о чем свидетельствуют письма и предостережения доброй памяти святейшего патриарха Антиохии, Валенсианского архиепископа дона Хуана де Рибера {19}.

В Европе, на расстоянии всего лишь четырех стадий от Азии (если бы замерзло море и выпал снег, то можно было бы пройти пешком из Азии в Европу), находится Константинополь - столица сначала Римской империи, затем Греческой, а ныне Турецкой, именуемой из-за огромного пространства, ею занимаемого, Великой. Некогда этот город разрушил император Север, затем восстановил Константин и прославил Феодосии. Пятьдесят миль стен было построено Анастасием, чтобы защищать город от нападений варваров; сейчас, правда, от них осталось лишь восемнадцать миль, или шесть лиг. Жителей там - семьсот тысяч: из них триста тысяч турок, двести тысяч христиан и еще двести - индийцев. После взятия города Мухаммедом Вторым в 1453 году там находится резиденция их императоров, которых обычно называют великими султанами. Город имеет форму треугольника, в одном углу которого находится королевский дворец, обращенный на восток, в сторону Калхедонии - части Азии; второй угол обращен на юго-запад, где имеется семь башен, служащих укреплениями и главной городской тюрьмой; а к северу отсюда расположен третий, где находится старинный дворец Константина, расположенный на

возвышенном и пустынном месте, откуда открывается вид на весь город. Отсюда до самого дворца султана раскинулась на протяжении целой морской лиги гавань, вдающаяся в город заливом в две лиги длиной и треть лиги шириной. Порт защищен со всех сторон от ветров и заселен разным народом. Со стороны семибашенной стены, где город омывает море, можно отыскать небольшое пространство - прежде там находилась Византия, от величия которой остались лишь одни развалины. Весьма красивы мечети, построенные султанами Мухаммедом, Баязедом и Селимом, но ни одна из них не сравнится с мечетью, воздвигнутой Сулейманом и названной его именем: храм этот должен был превзойти великолепием славный собор святой Софии - замечательное здание, сооруженное при Константине Великом. Еще сохранились воздвигнутые во времена этого императора гигантские колонны с барельефами, изображающими его деяния. Есть в городе четыре больших гостиных двора для местных и привозных товаров. Великолепна главная улица, ведущая к Адрианопольским воротам; на ней находится площадь, где продают пленных христиан совсем так, как в Испании на рынках продают скот, только обращаются с ними еще грубее. Всего в городе тридцать одни ворота - на востоке, западе и севере, охраняемые янычарами. Дома - низкие, и их крыши резного дерева покрыты богатыми золотыми украшениями. Жители города не увешивают стен коврами, но тщеславие их состоит в том, чтобы устилать ими полы. Из одной части города в другую людей перевозят обычно на лодках, которые по-турецки называют каиками или пермами. Всего таких лодок там около двенадцати тысяч - цифра немалая. Климат там настолько холодный, что с декабря по конец марта земля покрыта снегом. Некоторые знаменитые христианские храмы - как, например, Богоматери, святого Николая и некоторые другие - хотели захватить изгнанные из Испании мориски, и визирь, получив от них двенадцать тысяч эскудо, готов уже был разрешить им ломать и портить эти церкви; однако послы Франции, Англии и Венеции заявили султану, что их государи сочтут это недружелюбным по отношению к себе поступком и не потерпят такого. Благодаря этому морискам не удалась их затея, а вернее сказать, господь бог не допустил, чтобы столько христиан лишилось утешения религии там, где их души подвергаются столь великой опасности. Вот в эти-то места и приехал Фелисардо.

Ваша милость, наверное, устала дожидаться его прибытия. Но если бы я не описал вам внешнего вида, который имел тогда, да и сейчас имеет этот славный город, то какое представление сложилось бы о турках у дамы, которая столь мало ценит даже мужчин нашей веры? Знайте же, ваша милость, что описания очень полезны для понимания подобных историй и что я до сих пор не вдавался в космографию только оттого, что опасался утомить вашу милость, ибо вам и

так уже мир, простирающийся от вашего дома до Прадо, представляется огромным и полным опасностей: должно быть, потому у вас и вошло в привычку носить при себе кинжал, чтобы пронзить им всякого, кто загородит вам дорогу; право же, я не видел большего врага человеческого спокойствия, чем вы.

Фелисардо встретился со своими родителями, которые, так как они были людьми благородными, оплакивали постигшее их бесчестие и опасность погубить свою душу, грозившую им в этой земле; впрочем, их несколько успокаивало большое количество церквей и богоугодных учреждений, которые они там видели. Общая судьба усиливает веру в скорое избавление и ослабляет страдания от невзгод, как сказал какой-то философ, кажется Миртил {20}; так говаривал и блаженной памяти монах Антонио де Гевара {21}, знаменитый писатель, который никогда не боялся приписать свое изречение какому-либо древнему автору, хотя тот зачастую даже и не заикался на этот счет, да и не мог бы заикнуться, ибо нечто подобное мог бы изречь лишь какой-нибудь современный писатель. Но Гевара любил иной раз повысить цену своим утверждениям, прибавляя к ним: "Как сказал великий Тамерлан", или: "Как значится в московских летописях, хранящихся в библиотеке Каирского университета". Ибо, если сказано хорошо, то не все ли равно, на каком языке - греческом или кастильском, а если плохо и вяло, то неужели авторитет сказавшего для нас значит больше, чем то, что сказано? Я нашел как-то в одной славненькой книжечке, называющейся "Испанская антология", такую сентенцию, высказанную неким графом: "Бискайя бедна хлебом, но богата яблоками", а на полях стояла пометка владельца книги, очевидно человека со вкусом: "Скажет тоже!", что мне показалось весьма забавным.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Несколько дней Фелисардо и его родители ломали себе голову, как им быть, словно в их положении и впрямь можно было что-нибудь придумать. Вот тут-то и я должен сознаться, сеньора, что сам не знаю, как и почему (никто мне не мог этого объяснить), но только Фелисардо вдруг стал турецким пашой. Это чрезвычайно напоминает комедию, где во мгновение ока принц становится бродягой, а дама - мужчиной, да притом еще настоящим мужчиной, как говорят в народе. Как это ни печально, но только Фелисардо стал настоящим турком. Он теперь одевался по-турецки и носил на голове тюрбан; и так как он был высокого роста, очень смуглым и имел красивые усы, то ему настолько было к лицу это одеяние, что казалось, будто он в нем и родился. Его осанка, мужество, изящные манеры, смелость и достоинство, с которым он держался, побудили султана приблизить к себе юношу; и нередко он весьма откровенно обсуждал с ним испанские дела. Султана этого звали Ахмет, и было ему в ту пору тридцать три года. Был у него

брат по имени Мустафа, которого он посадил в тюрьму, намереваясь его убить, согласно дикому обычаю этих варваров. Для такой цели он послал в тюрьму Хозяина жизни с несколькими слугами. Приблизившись к тюрьме, они обнаружили, что она накрепко заперта, а Мустафа непринужденно разгуливает на свободе. Они доложили об этом султану, и тот, увидев в этом некое чудо, приказал снова заточить брата. Затем, по совету муфтия, их высшего духовного начальника, Ахмет все же решил умертвить брата. Но в ночь накануне убийства Ахмету привиделось, будто некий воин грозит ему копьем, и тогда, ужаснувшись, Ахмет решил сохранить Мустафе жизнь. Все же и после этого многие подстрекали его убить брата, и однажды он хотел из окна своего дворца, выходящего в сад, где прогуливался Мустафа, пустить в него отравленную стрелу, но внезапно его охватил такой ужас, что лук задрожал и выпал у него из рук. Султан после этого случая настолько смягчился духом, что не стал даже требовать от брата каких-либо подарков - ни одежд, ни золота, ни чего-либо другого. Так что брат его и поныне жив, и многие даже полагают, что Мустафа станет его наследником, хотя у султана много своих детей, из которых два сына и две дочери появляются на людях, остальные же скрыты в недрах дворца.

Султан до того любит рассматривать портреты и изображения различных христиан, что посылает разыскивать их всяких рассыльных и купцов, но затем рассмотрев хорошенько, возвращает картины владельцам. И вот однажды во время праздника, разглядывая в лавке богатого еврея картины, захваченные на одном из неприятельских кораблей, он приказал позвать Фелисардо, который назывался теперь Сильвио-пашой, в честь той сицилийской дамы, которую он никак не мог забыть и по которой все время тосковал. Ибо ни горькая уверенность, что он не увидит ее больше, ни перемена страны и одежды не могли его заставить забыть ее, и я не думаю, что в этом случае помогла бы даже вода реки Силена {22}, в которой купались древние, чтобы забыть свои любовные привязанности, хотя бы и многолетние. Увидев Фелисардо, султан спросил у него, не знаком ли ему кто-нибудь из изображенных на портретах. Фелисардо ответил утвердительно и, показывая на портреты, стал называть имена и рассказывать то, что знал о знатности, именах и родословных изображенных на них людей. Ахмет очень обрадовался, увидев императора Карла Пятого, королей Филиппа Второго и Третьего, знаменитого герцога Альбу, графа Фуэнтеса и других сеньоров. Кто бы мог подумать, что султана все это будет так интересовать? Среди жен, которых в то время имел султан Ахмет, самой любимой была нежная андалуска, взятая в плен в одном из портов Испании. Она развлекалась тем, что смотрела комедии, которые разыгрывали пленные христиане, а те, стараясь заслужить ее милость и поддержку, разучивали роли, поручая добывать списки в Венеции еврейским купцам, и я

сам даже видел письмо тамошнего турецкого посланника к графу де Лемосу, в котором посланник убедительно просил его выслать все, что он сможет достать из этого рода писаний, расхоронившихся по всему свету в аккуратно переплетенных сборниках. Наш Фелисардо (вот я и запутался: ведь он теперь уж иначе назывался) тоже захотел порадовать султаншу, донью Марию, и разучил вместе с другими пленными юношами и изгнанными из Испании маврами комедию "Роковая сила" {23}. Он пышно нарядился, чтобы играть в этой пьесе графа. В Константинополе было в ту пору много отличных портных, приезжих из Испании, и можно было достать превосходные итальянские ткани басонной работы. Так как Фелисардо был прекрасно сложен, одежда сидела на нем так, словно он в ней родился, и султанша, никогда раньше его не видевшая, раз на него взглянув, уже не могла больше оторвать от него своих взоров, проникавших прямо в его душу. Играл Фелисардо удивительно хорошо и, оказавшись в своем настоящем платье, плакал искренними слезами, взволнованный и расстроенный незаслуженно постигшими его бедствиями. Когда окончилось представление, султанша несколько не охладела к Фелисардо и при всяком удобном случае старалась дать ему понять, что влюблена в него, достигнуть чего ей и удалось без особых усилий, ибо ни с какими любовными записками не сравнятся глаза, смотрящие на вас с любовью. Однажды, когда она восхваляла его приятную наружность, выражая сожаление по поводу того, что он добровольно отрекся от истинной веры, он ответил ей, что вовсе не собирается хранить верность низкому лжепророку и что, хотя до нынешнего состояния его довело крайнее отчаяние, а также то, что здесь находятся его родители, он прибыл сюда с намерением совершить какой-нибудь славный подвиг в честь испанского короля. И он добавил, что исполнен отважной решимости не возвращаться на родину, пока не добьется всеобщего уважения и признания, совершив какое-нибудь героическое деяние.

- Если только я в силах помочь тебе, - ответила султанша, - ты найдешь во мне самую преданную женщину, располагающую всеми нужными средствами, ибо со мною султан Ахмет обращается иначе, чем со всеми другими, подвластными его законам и его величию.

Фелисардо преклонил перед ней колена, поцеловал руку и, устремив на нее взоры, заплакал. Она же, почувствовав всю доблесть Марса и всю нежность Адониса, соединенные вместе в лице этого юноши, подняла его с колен и поклялась верой, запечатленной в ее сердце, не покидать его ни в каком деле, которое он предпримет, хотя бы это и грозило ей смертью.

Чтобы обеспечить себе возможность встречаться с ним, она заявила султану, что ей очень нравится пение Фелисардо. Благодаря этому он получил свободный доступ в ее покои, куда и заходил якобы для того, чтобы развлекать

ее. И однажды, в присутствии самого султана Ахмета, он спел следующее:

Любо мне, любя, молчать,
Если тех, кто бессловесно
Служит госпоже прелестной,
Может слава отличать!
Но отраву источать

Не перестает сомненье,
И, страшась принять решенье,
От любви бегу я вновь,
Хоть за это мне любовь
Никогда не даст прощенья.

Трусость - пылко полюбить
- И, любя, не сметь открыться;
Но не лучше и решиться
Смертью муки прекратить.
Я хочу страдать и жить,
Хоть наказан справедливо,
И томлюсь тоской ревнивой
В одиночестве своем:
Ведь жива надежда в том,
В ком еще страданье живо.

Тем, что уст не раскрывал,
Я любви нанес обиду,
Ибо тот, кто робок с виду,
Счастьем взыскан не бывал.
Хоть язык мне страх сковал,
Я мечтаю о признании,
Но таком, чтоб про желанье
Рассказать лишь блеском глаз
И, предчувствуя отказ,
Продолжать любить в молчанье.

Мысль моя, уж раз она
Хочет мыслью называться.
Лишь сама с собой общаться
И молчать обречена.

Хоть стремлюсь я издавна
Горе высказать словами,
Но напрасными речами
Не смягчу своей беды,
Ибо нет в словах нужды
Тем, кто говорит глазами.

Я бессмертной муки жду,
Ибо на земле всегда я
Из-за вас, о неземная,
Мучусь горше, чем в аду.
Раз ввергает нас в беду
Славолюбье непрерывно,
Славы мне искать противно,
Но взамен о капле благ
Вправе умолять бедняк,
Полный скорби неизбывной.

О, поймите хоть на миг,
Сколь сладка моя кручина,
Ибо мук моих причина -
Только ваш небесный лик!
Смертен я, и мой язык
Небожительнице скучен,
Но тоской давно обучен
Говорить мой взор немой,
Чтоб не мог никто другой
Вам сказать, как я измучен.

Султанша подумала, что Фелисардо сочинил эти стихи в честь ее чувств и замыслов; но она сильно ошиблась, так как они были написаны для Сильвии в самом начале их любви, в Палермо. Однако султанша не обманулась в том отношении, что Фелисардо, желая заставить ее подумать так, нарочно разыскал эти строки среди прочих стихов, которых он знал множество. Он поступил, как делают музыканты, странствующие по деревням с одного праздника местного святого к другому, когда одного вильянсико {24}, если только подставлять всякий раз имя другого святого, может хватить на целый год; это не менее смешно, чем смотреть, как на празднике какого-нибудь мученика, справляемом в июле, пляшут рождественские пастухи. Любовь султанши заметно росла,

подчиняя себе слабую волю юноши, который то - как это свойственно ветреным мужчинам - отвечал на ее нежность, то - как подобает людям чести - уклонялся от нее. Выполняя желание Фелисардо, донья Мария без труда выхлопотала у султана, чтобы в его распоряжение было предоставлено несколько галер с соответствующим экипажем и чтобы он был назначен их капитаном. Таким-то образом Фелисардо стал выходить в море на шести хорошо вооруженных судах, на которые он не принимал ни одного мориска, так как ему не нравилось их поведение и он в силу этого не мог доверять им свои замыслы. Совершив ряд небольших набегов, он доставил в Константинополь нескольких пленных, правда не подданных испанского короля. Пленные были показаны султанше, и Фелисардо получил в виде благодарности драгоценностей на крупную сумму: она пожелала, чтобы он носил их на тюрбане, который она украсила перьями.

Однажды Фелисардо смело подошел к берегам Сицилии и бросил якорь в виду Палермо. Сыну Сильвии и Фелисардо было в то время уже три года. Так как ее родители умерли, то Сильвия воспитала своего ребенка сама, но не настолько открыто, чтобы людям благомыслящим стало ясно, что он ее сын; ну, а что касается людей, дурно мыслящих о своих ближних, то ведь они даже самым добродетельным девушкам склонны приписывать ужасающие прегрешения. Не получая все это время известий от Фелисардо, она стала привыкать к своей участи, и мне думается, что, по своей беспечности, она, быть может, и совсем бы о нем забыла, если бы не видела ежедневно перед собой сына, больше похожего на него, чем говорится в кастильской пословице, сложенной по поводу таких сомнительных случаев. (Прошу прощения, ваша милость, у вашей фантазии; но ведь я удержался и не привел этой пословицы!) И вот один раз (нельзя сказать, чтобы это было очень много для трех лет одинокой жизни при полном неведении того, жив ли еще Фелисардо или нет) она в сопровождении нескольких подруг отправилась в лодке одного калабрийского купца прогуляться по морю, которое в этот день манило ясной погодой и запечатленным в нем образом переменчивой судьбы, которая то, словно утомясь своей жестокостью, дает нам короткую передышку, то словно вымещает минуту дарованного покоя еще худшими бедствиями, сменяющими ее. Не могу поэтому удержаться и не посмеяться над определением, которое дает судьбе Аристотель (право же, только того и не хватало этому достойному человеку, чтобы в каких-то новеллах над ним еще издевались!). А именно, он говорит, что счастливая судьба сводится лишь к счастливым событиям в жизни человека, а несчастная - к несчастным. Загляните, пожалуйста, ваша милость, во второй раздел его "Физики", проверьте, правильно ли я цитирую: сам-то я в точности это место не помню. Намного лучше понимал это дело Плутарх Херонейский, дерзко заявивший, что говорить, будто никто не избежит своей

судьбы, - это бабья болтовня; так мог бы выразиться и самый правоверный католик, ибо на то и дана человеку свобода совести, чтобы он ею оправдывал веления небес.

Так не падает коршун, распластав бурые крылья, вытянув клюв и выпустив когти, с быстротой молнии и яростно налетающий на несчастных цыплят, покинувших тепло и перья матери, как ринулась капитанская галера Фелисардо на лодку, в которой находилась Сильвия. Она скоро настигла ее; плачущую Сильвию и ее подруг провели на корму судна, где, развалясь на турецком ковре с золотыми арабесками, вышитыми на шелку, сидел Фелисардо, облокотись на подушки из персидской парчи перламутрового цвета. Сильвия опустила перед Фелисардо на колени, посадила, чтобы его растрогать, своего маленького сына ему на руки и на сицилийском наречии стала со слезами на глазах молить смилостивиться над злосчастнейшей женщиной в мире того, кому и помутившееся зрение и слух говорили, что то была Сильвия.

Здесь, сеньора Марсия {25}, даже поэтические гиперболы окажутся слабы, а тем более скучная, непоэтическая обыденность прозы, без сомнения, окажется бессильной, если даже случившееся опишет сам автор "Рассуждения о быках", сетующий о своей горькой судьбе, для чего имеются все основания: зато ему должны быть весьма признательны быки Саморы: ведь никто не вспоминал об этом городке с тех пор, как перестали распеваться романсы о короле Санчо, предательстве Вельидо Дольфоса и невзгодах доньи Ураки {26}, нисколько не уступающих бедствиям дона Альваро де Луны {27}. Несомненно, они распевались бы и ныне, если бы не умер некий поэт, искусный по части ассонансов, взявший в аренду сию должность у правителей судьбы лишь на двадцать лет. Кстати, раз уж мы упомянули Вельидо Дольфоса, то умоляю вашу милость сообщить мне, не знаете ли вы кого-нибудь из его родственников, так как я замечал, что у человека подлого никогда не бывает родных; если же кто прожил всю жизнь в добродетели или совершил что-либо достойное упоминания, то все утверждают, что происходят от него. Я знал одного молодого человека, который часто говаривал: "Мой предок Адам..." - и он был вполне прав, ибо всякий мог бы сказать то же самое, даже если бы он родился в Кохинхине - там, где, как говорят, побывал Педро Ордоньес де Севальос {28}, уроженец Хаэна, обративший в христианскую веру дочь тамошнего царя и крестивший более двухсот тысяч человек; если он действительно это совершил, то бог вознаградит его, если же нет, то и награждать не за что.

Вся эта вереница отступлений вставлена мною, сеньора Марсия, для того, чтобы ослабить печаль, которую могли нагнать на вашу милость слезы Сильвии, и избавить меня от необходимости описывать вам радость обоих любовников, узнавших друг друга. Клянусь вашей милости, один из

присутствовавших при этой сцене говорил мне потом, что никогда в жизни он еще не слышал более страстных речей и не видел более жарких слез. Фелисардо рассказал Сильвии о своем новом положении, уверив ее в том, что он и не думал изменять истинной вере и что скоро он вернется в Сицилию, где окажет какую-нибудь значительную услугу королю Испании, хотя и не собирается приобщить к лону церкви бесчисленное количество заблудших душ. Что касается мальчика, то Фелисардо просто не мог им налюбоваться. Всю ночь провели они в разговорах, а затем он еще до рассвета доставил Сильвию с ее сыном в Мессину, одарив ее роскошными тканями и драгоценными алмазами, не считая еще двух ящиков, содержащих десять тысяч золотых цехинов. Сильвия сразу же отправилась к вице-королю, чтобы поделиться с ним этими новостями, и застала его готовящимся выйти в море навстречу турецким галерам. Долго раздумывал доблестный принц над тем, как ему повидаться с Фелисардо, и наконец решил, что тот должен высадиться на берег с двумя своими солдатами, а вице-король будет в это время находиться поблизости со своими людьми. Так они и сделали. Как только они завидели друг друга, Фелисардо вскочил в лодку вице-короля и бросился к его ногам, желая поцеловать их. Христиане были поражены изяществом и правильностью кастильского языка турка (ибо вице-король взял с собой людей, которые раньше не знали Фелисардо). Они о многом переговорили, и, когда пришло время расстаться, Фелисардо поднес вице-королю розу из алмазов стоимостью в двадцать тысяч эскудо (так говорили в Константинополе), которую подарила ему султанша с просьбой никому ее не дарить и не уступать за деньги ни при каких обстоятельствах.

Сильвио-паша (будем уж теперь называть его так), приведя в восторг твердостью своего духа все население города, высыпавшее на берег, чтобы проводить вице-короля, и утешив свою Сильвию, увидевшую в этот день - хоть и в необычайной обстановке и в странном наряде - того, кого она никогда больше не ожидала встретить, поднял паруса и вышел в море. Причина, по которой этот несчастный юноша не остался в Сицилии с женой и сыном, - там, где находилась его душа, - и не передал свою эскадру галер вместе с находившимися на них турками вице-королю, заключалась в чувстве признательности султанше за всю ее доброту к нему и в желании вернуть ее в лоно церкви, чего она и сама горячо желала, а также воссоединить ее с родителями, пролившими по ней столько слез. Одним словом, он хотел покончить с многими важными и манившими его делами, прежде чем вернуться в Испанию.

Фелисардо вошел в Константинопольский пролив почти уже в начале зимы, имея на борту нескольких пленных, захваченных им в землях, не

принадлежавших испанской короне: за все это время он ни разу не вторгся в пределы Испании и не захватил ни одного клочка земли, принадлежавшего ей или ее вассалам. Отсалютовав башням и дворцу султана и поцеловав ему ногу, Фелисардо развеселил население города, опечалил завистников и укрепил мечты султанши, знавшей его замыслы и потерявшей надежду на его возвращение, ибо она была уверена в том, что он нарушил данное им слово и остался в Испании.

За несколько дней до этого прибыл в Константинополь Насуф-паша, первый визирь султана, после победоносного, по его мнению, похода против Персии. Пышность устроенной ему встречи была необычной, так как кроме огромного войска в город вместе с ним прибыло двести шестьдесят четыре мула, нагруженных золотыми цехинами. Но заметьте, ваша милость, что, как ни велика была удача этого человека, судить о ней правильно вы сможете лишь тогда, когда я расскажу вам о дальнейшей его судьбе, небезразличной и для дел Фелисардо. Этот Насуф-паша был зятем султана и одним из самых влиятельных и почитаемых вельмож всей огромной империи. В знатности с ним мог соперничать только сын Чигалы - самого знаменитого после Барбароссы {39} корсара, Махмуд-паша, которому султан приходился свояком. Махмуд чрезвычайно завидовал славе своего соперника, особенно же в этот день, при описании которого мне показалось, что у вашей милости зародилось легкое сомнение относительно слишком большого количества мулов и слишком маленького числа солдат. По этому случаю мне хочется вам рассказать об одном тамошнем дворянине, у которого денег было больше, чем ума, и который навещал даму, больше ценившую ум, чем состояние. Однажды, перечисляя свои богатства, среди прочих глупостей он изрек, что у него есть триста фанег пшеницы, сто ячменя, тридцать повозок соломы, и спросил ее, каким она находит его богатство, на что она ответила: "Мне кажется, сеньор, что для такой почтенной особы, как вы, пшеницы чересчур много, а ячменя и соломы маловато". Но довольно о числе мулов, ибо для тех, кто знаком с надменностью турецких вельмож, оно не должно казаться чрезмерным, и вернемся к нашему рассказу. Прибыв в Константинополь, Насуф сообщил, что заключил с персидским шахом мир, в доказательство чего привез с собой посла с богатыми дарами, состоящими из тканей, цехинов, самоцветов и прочих редкостных и любопытных вещей. Однако, имея точные сведения о том, что шах не прекратил своих набегов на владения султана, Чигала возымел подозрение, что Насуф заключил совсем другой договор с шахом к великому ущербу своего повелителя. А кроме того, не получая на письма, адресованные им Насуфу и султану из пограничных с Персией областей, где он был правителем, никакого ответа, Чигала решил сам поехать в Константинополь; но по дороге он встретил

гонца, которого Насуф отправил к персам. Чигала пригласил его к себе поужинать и как следует подпоил (этим делом они усердно занимаются, когда воображают, что Магомет их не видит); после того как гонец, охмелев, свалился под стол, Махмуд Чигала взял находившиеся при нем письма и нашел в них то, чего искал; таким образом измена была раскрыта. Тогда Махмуд велел убить гонца и зарыть его тело во дворе того самого дома, где все это происходило. Прибыв в Константинополь, он попросил разрешения у Насуфа войти в город, но тот сначала отказал ему в этом, а потом дал разрешение за триста тысяч цехинов. Чигала, жаждавший скорей повидаться с женой своей, сестрой султана, по которой он за долгое отсутствие сильно соскучился, дал ей знать о причине, задержавшей его въезд в город. Тогда Фатьма (если вашей милости угодно, чтобы я ее так называл, ибо настоящего ее имени я не знаю) решила сама отправиться к мужу, расположившемуся за городской стеной, и он ей объяснил, почему его не пускают в город. Она вернулась в Константинополь и обо всем рассказала султану, своему брату, а тот ночью, в величайшей тайне, послал за Махмудом Чигалой, который и приехал к нему в небольшом кайке - если только ваша милость не забыла, что так называются у них лодки (не хочу злоупотреблять турецкими словами, подобно тем, кто, зная два или три слова по-гречески, щеголяют ими на каждом шагу). Его провели через потайную дверь во дворец, где он был радостно встречен СБОИМ шурином, которому он рассказал все, что знал, и показал письма. Тогда-то султан Ахмет и задумал, имея для этого достаточное основание, лишить Насуфа жизни. Так как сильное неудовольствие трудно бывает скрыть, Насуф по выражению лица султана заметил перемену в его отношении и три дня подряд не являлся на заседание совета, ссылаясь на нездоровье. Тогда султан объявил, что хочет провести свою дочь, и так как повелителя турок дозволяется лицезреть лишь один раз в неделю, в пятницу (день, который у них считается праздником), когда он направляется в главную мечеть для совершения намаза, го на сей раз улицу, по которой он должен был проследовать недоступно для взоров, затянули полотнищами, укрепленными на высоченных копьях. Между этими завесами и проехала карета, в которой находился Хозяин жизни³⁰, сопровождаемый отборными телохранителями, храбрецами и силачами, полагавшими, что они охраняют султана, которого приветствовать собралось более четырех тысяч человек. Хозяин жизни вошел в дом Насуфа; как только он проходил через какую-нибудь дверь, солдаты тотчас же, безмолвно и старательно, закрывали ее за ним. Насуф, ничего не подозревая о своей участи, сидел в одном из своих покоев с двумя евнухами. Хозяин жизни попросил его выйти в соседний покой и, отвесив низкий поклон, вручил ему указ султана, в котором тот приказывал Насуфу возвратить ему царскую печать. Смутившийся Насуф отдал печать,

пробормотав:

- Неужели у повелителя есть другой, более преданный слуга, который сможет заменить меня на этом посту?

Тогда Хозяин жизни показал ему другую бумагу, в которой султан приказывал казнить его. Насуф вскричал:

- Что это? Предательство? Зависть? Кто обманул моего великого повелителя, которому я служил так усердно и преданно?

Но видя, что путь к бегству отрезан, а оправдаться невозможно и нет даже оружия, чтобы дорого продать свою жизнь, он примирился со смертью. Он попросил только у Хозяина жизни разрешения проститься с женой, находившейся в соседней комнате, но в этом ему было отказано; тогда он на коленях вымолил разрешение хотя бы совершить намаз, ибо его душа была так же полна суетными мыслями, как и его жизнь. Это ему разрешили, так как речь шла о религии, и потому чинить ему препятствия не было никакого смысла; предаться же скорби и горестям ему не позволили потому, что в этом случае человек получает нравственное утешение, чего допускать было нельзя.

Вспомните рассуждение Сенеки {31}, изложенное в первом его письме: "Когда мы думаем о смерти, нас утешает мысль, что все, что миновало в жизни, уже стало ее достоянием". Насуф сел в кресло, и его разум приготовился подчиниться насилию, а его мужественная душа - встретить смерть. Однако, когда названный уже нами философ утверждает, что радостно принимаемая смерть есть наилучший вид кончины, - как все-таки может человек, нехотя расстающийся с жизнью, считать ее благом и утешаться тем, что все им пережитое уже умерло?

Хозяин жизни и солдаты смотрели на Насуфа с ужасом и восторгом, он же мрачно взглянул на них и сказал: "Чего вы ждете, негодяи? Делайте, что вам приказано". Тогда четверо из них собрались с духом и, накинув ему на шею петлю, удавили его. После этого Хозяин жизни закрыл двери. Когда он доложил султану, что приказ его выполнен, тот велел принести ему голову Насуфа, швырнул ее на пол и, пнув ногой, сказал: "Брекаин", что значит: изменник.

Оставив только то, что находилось в комнате вдовы покойного, султан конфисковал все имущество Насуфа. Это были самые огромные богатства, какими частное лицо когда-либо обладало, ибо среди прочего оружия там было тысяча двести мечей, отделанных золотом и серебром. Если, однако, вашей милости эта цифра покажется чрезмерной, вроде числа мулов, то вы можете убавить ее как вам заблагорассудится. Я почти уже не осмеливаюсь добавить, что у Насуфа было в Константинополе тридцать тысяч приверженцев и что он держал под седлом в разных частях империи семь с половиной тысяч лошадей, так что, если бы судьба благоприятствовала его тайным замыслам, он мог бы

стать владыкой всей Азии.

Фатьма {32} осталась богатой вдовой, и хотя многие домогались ее руки, в том числе один именитый паша в зеленом тюрбане, султан пожелал возвысить Фелисардо и сделать его своим зятем, женив на женщине, имевшей столь назидательный пример в своем приданом. Он сообщил о своих намерениях султанше, которая с трепетом наблюдала за тем, какой оборот принимает дело. Чтобы воспрепятствовать желанию султана, она стала плохо отзываться о Фелисардо, уверяя, что он человек надменный, преданный той стране, где родился, и что ее много раз поражала пылкость, с какой он рассказывал о королях и вельможах Испании, из чего можно было заключить, что в один прекрасный день он способен убежать на родину, уж если зять султана Насуф, родившийся в Турции и выросший в турецком законе и обычаях, оказался изменником, то и подавно нельзя положиться на иностранца и иноверца, воспитанного в другой стране, в другой вере и обычаях. Последний довод показался Ахмету разумным, он отложил свадьбу и стал холоднее и подозрительнее относиться к Фелисардо.

А тем временем султанша, соблюдая величайшую осторожность, стала готовиться к отъезду в Испанию. Она добилась у султана, чтобы эскадру Фелисардо весной отправили крейсировать в Архипелаг, где, по слухам, действовали шесть мальтийских галер, а сама, готовясь к бегству, стала собирать свои драгоценности.

Султанский дворец имеет две лиги в окружности. Со стороны моря, то есть со стороны, обращенной к Калхедону, расположено множество артиллерийских орудий. Главный фасад дворца, обращенный на запад, смотрит прямо на церковь святой Софии. Справа от главного входа находится госпиталь, именуемый Тимариной: он предназначен для всех нуждающихся в нем жителей дворца; слева же - бывшая церковь святого Георгия, ныне превращенная в арсенал. Дальше находится второй подъезд дворца, у которого спешиваются вельможи, прибывающие на царский совет, и там же начинается прекрасная улица длиной около трети лиги. Через калитку в северной стене обычно выходит и возвращается султанша и женщины сераля. Запомните эту калитку, ваша милость. От этой калитки начинается также прекрасный сад, в котором растут сотни деревьев и водятся олени, а рядом находится закрытая площадь, где обычно стоит стража из янычар. В те дни, когда бывает совет, часть янычар обедает здесь же, между тем как остальные стоят на страже. Каждую из названных дверей охраняют двенадцать привратников. В южной части находятся кухни для султана и его семьи, а в дни, когда бывает совет, - для всего двора. Тогда здесь обедает такое множество людей, что уверяют, будто одних поваров насчитывается четыреста пятьдесят человек. (Впрочем, ваша милость,

не опасаясь обидеть султанскую пышность и тем самым мою новеллу, свободно может этому не верить). Пройдя все это, можно подойти к главным дверям султанского дворца, охраняемым белыми евнухами. В эти двери разрешается входить только членам семьи султана, а все остальные могут входить в них лишь по особому его разрешению, будь то сам великий визирь.

Так вот через калитку, которую я просил вас запомнить, сеньора Марсия, вышла великая султанша с двумя ренегатами, которым она решила довериться; и притом еще она была в костюме янычара, ибо иначе выйти было невозможно. Подвергая себя великой опасности, она отправилась к берегу моря, где была встречена смелым Фелисардо, остерегавшимся проронить хотя бы слово. Он приказал эскадре выйти в море и взять курс на Сицилию, где, по его словам, им предстояло совершить некий великий подвиг. Но столь несчастен был этот юноша, хоть и достойный лучшей судьбы, что едва лишь его корабли вышли в море и капитанская галера, распустив паруса, начала бороздить воды веслами, как небо затмила черная туча и со всех четырех сторон света загромыхал гром, сопровождаемый столь ужасными вспышками молний, что, казалось, они сливались в одно сплошное полмя. Море вздулось, волны забушевали, клочья морской пены завязали между собой грозную битву, взлетая к звездам, которые, словно боясь, что пена их погасит, спрятались. Не было смысла зарифлять паруса, и все понимали, что в этом хаосе мужество и стойкость были бессильны. Фелисардо выхватил саблю и, грозя ею, требовал, чтобы галеры продолжали путь; но и он не смог противиться воле небес. И когда стало рассветать, все увидели, что капитанская галера, как, впрочем, и все остальные, находится почти в самом порту.

Фелисардо намеревался провести весь день на судне, спрятав донью Марию в каюте. Но в городе уже узнали об ее исчезновении, ибо несколько турчанок и гречанок, прислуживавших ей, забили тревогу. Они подняли такой крик, что встревоженные янычары доложили о случившемся своему начальнику, тот передал Махмуду-паше, а тот сообщил обо всем султану. Этот последний, крайне взволнованный, вообразил сначала, что султаншу умертвила из ревности какая-нибудь другая из его жен или наложниц. Но, подумав хорошенько и взвесив все обстоятельства, - ибо, как говорит Сенека, "ни в чем не уверен тот, кто склонен к подозрениям", - он решил, что она бежала с Фелисардо, - ибо не доказывало ли то, что она так дурно о нем говорила, того, что она была в него влюблена? Ведь женщины постоянно так делают - либо для того, чтобы скрыть свою любовь, либо для того, чтобы обмануть других поклонников. Придя к такому выводу, султан послал Хозяина жизни с сотней телохранителей и янычар на галеры, так как было уже известно, что буря настолько их потрепала, что без основательной починки снова выйти в море они не в состоянии.

Как только Фелисардо завидел их, он сразу же принял решение умереть, как подобает кабальеро, а не погибнуть под пыткой в руках подлого палача. Хотя паше и очень хотелось взять его живым, Фелисардо не пожелал сдаться: он отчаянно бился на мостике своей галеры, ловко орудуя палахом и круглым щитом и громоздя трупы убитых врагов. Видя, что взять его живым не удастся. Хозяин жизни приказал янычарам стрелять в него. Фелисардо упал, сраженный одновременно четырьмя выстрелами, хоть и сделанными без всякой охоты, ибо он был весьма любим этими варварами. Рассказывают, будто перед смертью он успел промолвить: "Турки, будьте свидетелями, что я умираю как христианин и что я оскорбил моего повелителя лишь тем, что хотел увезти донью Марию". После этого паша отрубил ему голову, чтобы доставить ее султану, и разыскал султаншу, которая, заливаясь слезами, взирала на мужественную смерть несчастного юноши. Весьма обрадованный тем, что она нашлась, Хозяин жизни попытался как мог утешить ее и с великим почетом доставил ее во дворец.

Султан целых четыре дня отказывался видеть донью Марию, но затем любовь все же взяла верх в его сердце, и он простил ее, ибо, когда любящий гневается на любимую, это, как весьма верно замечено в "Амфитрионе" Плавта {33}, приводит лишь к тому, что любовь становится еще более пылкой и нежной. Султанша в свое оправдание могла сослаться лишь на то, что очень уж ей хотелось побывать на родине и повидать родителей, а другого способа для этого, ввиду запрета султана, она не видела. Ревнивый турок ей поверил, ибо хотел тем самым умирить свой гнев - вещь, способствующая тому, что и жены ревнивцев, как бы ни были они пылки, тоже скорее успокаиваются. По этому случаю мне вспоминается сцена из одной португальской комедии, где старик, беседуя с другом, сообщает ему, что хочет женить своего сына, на что друг замечает: "Не делайте этого, так как он влюблен в куртизанку". А старик отвечает на это: "Мне это отлично известно, и потому-то я и хочу женить его, что они с куртизанкой поссорились и ревнуют друг друга, а это весьма кстати: я воспользуюсь этой ссорой, чтобы разлучить их". Но друг возражает ему: "Плохо же вы знаете, как бывает сильна старая любовь, вошедшая в привычку. Ваш сын уже сейчас ищет предлога, чтобы извиниться перед этой женщиной за обиду, которую она ему причинила".

Таков был конец Фелисардо, таковы были его несчастья из-за чести, так рухнули его надежды. А Сильвия продолжала воспитывать залог их несчастной любви; и если этот ребенок вырастет, то ваша милость увидит, как говорится, второе действие комедии. А пока прочтите эту эпитафию, или жалобную песнь о невзгодах Фелисардо:

Здесь несчастный погребен.

По чужбине он скитался
И неузнанный скончался,
Недоверьем умерщвлен,
Ибо полумесяц он
Солнцу предпочел с досады {34},
Хоть был верен чести с млада.
Тем, кто в бой вступил с судьбой,
Не о гордости пустой,
А о долге печься надо.

БЛАГОРАЗУМНАЯ МЕСТЬ

Заверяю вашу милость, которая требует от меня рассказа на эту тему, что не знаю, сумею ли я заслужить ваше одобрение, ибо если у каждого писателя есть свой гений, которому он себя посвящает, то мой гений не может проявиться в этом, хотя многие и думают иначе. Гением же, если ваша милость этого не знает, - а она вовсе не обязана быть в этом осведомленной, - называется та склонность, благодаря которой мы предпочитаем одни предметы другим, а потому изменять своему гению - значит отказывать природе в том, чего она вправе от нас требовать, как сказал об этом один сатирический поэт.

В древности считали местопребыванием гения лоб, ибо по лбу можно узнать, делаем ли мы какое-нибудь дело с охотой или против желания. Но это не совпадает со взглядами Платона и Сократа, Плутарха и Брута {1}, а также Вергилия, который полагал, что каждое место обладает своим гением, и потому писал:

Так говорил он гениям тех мест,
Чело которых, как венком, обвито
Зеленой ветвью, и богине Гее,
Первейшей меж богинями, и нимфам.
И рекам, умоляя их смиренно {2}.

Но я должен сначала оговориться и сказать, что не без радости служу я вашей милости, хотя для моей природной склонности занятие это и не совсем привычно, в особенности же сочинение этой новеллы, в которой я, против своего желания, должен быть трагиком, а это мало приятно тому, кто, вроде меня, все время находится вблизи Юпитера.

Но так как все, что делается ради собственного удовольствия, ценится

меньше того, что люди делают по принуждению, то ваша милость должна вознаградить мой труд и выслушать рассказ о женщине, видевшей мало радости в жизни, вышедшей замуж во времена менее суровые, чем наше, но, по воле божьей, оказавшейся в таком положении, которое устрашило бы кого угодно, если бы ему грозила такая же опасность.

В роскошной Севилье - городе, славу которого не затмили бы и Великие Фивы {3}, ибо если те обязаны этим названием своим ста вратам, то в единственные ворота Севильи входили и входят величайшие сокровища {4}, которыми на памяти человеческой обладал мир, - жил Лисардо, молодой кабальеро хорошего рода, отличавшийся хорошей внешностью, хорошими способностями и хорошим характером; помимо этих богатств, он овладел еще теми, которые ему оставил отец, трудившийся весь свой век без устали так, как будто бы, отправляясь в другую жизнь, он мог унести с собой все, что заработал в этой. Лисардо преданно и пылко любил Лауру, девушку, известную своим хорошим происхождением, большим приданым и многими дарами, которыми ее наделила природа, создавшая ее, казалось бы, с особенной тщательностью.

По праздникам Лаура вместе со своей матерью посещала церковь; она выходила из кареты с таким удивительным изяществом, что не только Лисардо, ожидавший ее появления у дверей церкви как нищий, чтобы взглядом молить о самой незначительной милостыне из сокровищницы ее глаз, - но и все, кому доводилось взглянуть на нее украдкой или же внимательно, мгновенно отдавали ей свое сердце.

Целых два года томился Лисардо этой любовной робостью, осмеливаясь говорить с Лаурой одними только глазами и нежными взглядами рассказывать ей о своих чувствах и описывать свои желания. Наконец в один счастливый день он увидел, что в ее доме слуги с веселым шумом и суматохой готовятся к праздничному обеду. Лисардо спросил одного из них, которого он знал больше, чем остальных, о причине этих приготовлений, и тот ответил ему, что Лаура и ее родители отправляются в свое загородное имение, где они собираются пробыть до наступления вечера. Севилья богата этими прелестнейшими садами, раскинувшимися на берегах золотого Гвадалквивира - реки, золотой не своими песками, доставившими у древних это название Гермю, Пактолу и Тахо {5}, воспетым Клавдианом {6}:

Их не насытит ни песок испанский,
Сокровище неистового Тахо,
Ни золото прозрачных вод Пактола,
Ни Герм, хотя б он до последней капли
От жажды высох, -

а теми богатыми флотилиями, которые входят в нее, нагруженные золотом и серебром Нового Света.

Узнав у слуги, где находится это имение, Лисардо нанял лодку и вместе с двумя своими слугами прибыл туда раньше, чем Лаура, и спрятался в самой отдаленной части сада. Вскоре приехала с родителями и Лаура; думая, что на нее смотрят только деревья, она в одной шитой золотом юбке и корсаже принялась бегать по саду, как обычно делают молоденькие девушки, когда из сурового домашнего затворничества вырываются на простор полей.

Такая одежда была бы к лицу и вашей милости, и, если я не ошибаюсь, однажды я видел вас, когда вы были одеты столь же небрежно, как Лаура, и были не менее прекрасны, чем она. Признание это вселяет в меня уверенность, что эта новелла сможет понравиться вашей милости, ибо если люди ученые любят, чтобы их называли гениальными, смелые - чтобы их называли Цезарями, щедрые - Александрями, а знатные - героями, то для женщин нет лучше похвалы, чем когда их называют красавицами. Правда, для подлинных красавиц эта похвала не имеет такого значения, но все же, если им об этом не говорить и не повторять затем множество раз, они сочтут себя дурнушками и будут чувствовать себя больше обязанными зеркалу, чем нашим любезностям.

Итак, Лисардо любовался Лаурой, а она, перебегая с одной дорожки на другую, настолько углубилась в сад, что оказалась совсем недалеко от него, и тут ее остановил ручей, который, как принято говорить в романсах, шептал и смеялся; вот послушайте, например:

Ручеек со смехом мчится
Галькой, как зубами, блещет.
Чуть весны босые ножки
Он завидит в восхищенье.

Я привел эти стихи не случайно, так как ручей должен был засмеяться, увидев ножки Лауры, прекрасной как весна, когда она, отвечая на приглашение зеркальной воды и шумного песка, который образовывал маленькие островки и, желая задержать ее, соперничал с водою, - разулась и опустила свои ножки в воду, где они казались лилиями, лежащими под стеклом.

Но вот Лаура ушла (слова эти кажутся мне столь же полными значения, как выражение: "Здесь была Троя"). Ее встретили родители, весьма взволнованные, ибо отсутствие дочери показалось им слишком долгим, - настолько велика была любовь, которую они к ней питали. Как верно почувствовал это трагический поэт {7}:

Как тесны узы крови,
Которыми связала
Отца с ребенком мощная природа!

Они осыпали ее ласками, хотя Хремет и бранит Менедема {8} за такое поведение, ибо Теренций не одобряет проявления родителями любви к детям.

Тем временем один из слуг Лисардо сообщил Фенисе, служанке Лауры, что здесь находится его господин. Слуга и служанка быстрее поладили между собой, поскольку менее заботились о своей чести. Он сказал ей, что они не взяли с собой никакой пищи, ибо Лисардо вполне мог довольствоваться одним созерцанием Лауры, - ведь слуги не умеют скрывать своих естественных побуждений и потребностей, которые с такою силою духа подавляют в себе люди благородного происхождения.

Фениса рассказала об этом Лауре, которая зарделась от стыда, как свежая роза; кровь взволновалась в ней, ибо сообщение о настойчивости глаз Лисардо вынуждало ее примирить в себе сердце и честь, желание и рассудок. И тихонько, чтобы как-нибудь не услышала ее мать, она сказала Фенисе:

- Никогда больше не заговаривай со мной об этом!

Фениса поверила суровости ее лица и лаконичности ее слов. Должен пояснить вашей милости, что слово это означает краткость, ибо лакедемоняне не любили длинных речей; мне кажется, что если бы они дожили до наших дней, то им пришлось бы немедленно умереть. Как-то раз пришел ко мне один идалго и заставил меня целых три часа выслушивать историю подвигов его отца в Индиях; когда же я наконец предположил, что он хочет, чтобы я написал обо всем этом книгу, он вдруг попросил у меня денег

Итак, Фениса поверила Лауре, совсем как это бывает в завязках комедий, и, зная о ее скромности, ничего больше не стала ей говорить. Но Лаура, увидев, что Фениса оказалась послушнее, чем ей хотелось, спросила ту, когда они остались одни:

- Как мог этот кабальеро отважиться прийти в наш сад, зная, что здесь должны находиться также и мои родители?

- Потому что он любит вас уже два года.

- Два года? - спросила Лаура. - Он так давно сошел с ума?

- Лисардо вовсе не похож на сумасшедшего, - возразила служанка, - потому что столько ума, скромности и благоразумия, при такой молодости, я не встречала ни в одном мужчине.

- Откуда ты его знаешь? - спросила Лаура.

- Оттуда же, откуда и вы.

- Так он поглядывает и на тебя? - продолжала влюбленная девушка.

- Нет, сеньора, - ответила ей лукавая служанка, - ведь вы одна во всей Севилье заслуживаете такой безумной любви, какую он вас обожает.

- Значит, он меня обожает? - спросила, улыбаясь, Лаура. - Кто тебя научил таким словам? Может быть, достаточно просто сказать, что он меня любит?

- Вполне достаточно, - сказала Фениса, - раз вы не отвечаете на такую любовь; а если бы вы любили его так же, как он вас любит, каким счастьем для вас обоих было бы пожениться!

- Я не хочу выходить замуж, - возразила Лаура, - я хочу стать монахиней.

- Этого не должно быть, - ответила Фениса, - потому что вы одна у родителей и они оставят вам в наследство пять тысяч дукатов дохода, а стоимость вашего приданого составит шестьдесят тысяч, не считая тех двадцати тысяч, которые вам оставила ваша бабушка.

- Послушай, что я тебе скажу, - ответила ей на это Лаура, - не смей никогда мне больше говорить о Лисардо; он найдет девушку, достойную его любви, про которую ты столько говоришь, я же не питаю к Лисардо никакой склонности, хоть он и не сводит с меня глаз целых два года.

- Хорошо, сеньора, - возразила Фениса, - только слишком уж часто упоминаете вы имя Лисардо, чтобы я могла поверить, что ваше сердце никогда его не вспоминает.

Тем временем настал час обеда, и слуги накрыли на стол, - да будет известно вашей милости, что эта новелла не пастушеский роман {9} и ее героини обедают и ужинают каждый раз, когда к этому представляется случай, И тут Лаура сказала Фенисе:

- Жаль мне, Фениса, что этот кабальеро из-за меня ничего не ел.

- Разве вы не приказали мне, чтобы я с вами не заговаривала о нем?

- Это правда, - отвечала Лаура, - но я говорю вовсе не о нем, а о его обеде. Умоляю тебя, сделай так, чтобы наш повар дал тебе что-нибудь для него, и отнеси это его слуге - так, как будто ты сама об этом позаботилась.

- Мне это по вкусу: ведь это все равно, что отнести нищему милостыню, которую дал другой человек, - забота ваша, а старания мои.

Так Фениса и сделала; взяв каплуна, двух куропаток, немного фруктов и белого хлеба - все, чем богата Севилья, она отнесла это, куда ей было указано, и сказала:

- Пусть Лисардо кушает себе на здоровье, потому что ему это посылает Лаура.

Влюбленный кабальеро, преисполненный благодарности за эту милость, принялся за еду с таким рвением, что слуги его, придя в отчаяние, осмелились ему сказать:

- Если ваша милость будет так кушать, то что же останется на нашу долю?

- Вы, - отвечал Лисардо, - вовсе недостойны милостей Лауры, и потому, если я что-нибудь и не доем, то сохраню это себе на ужин.

Может быть, вашей милости это покажется жестокостью со стороны Лисардо, а быть может, вы возразите: "Мне кажется всего лишь, что он сильно проголодался", и вы будете правы, если только вам неизвестно, чем питается счастливый влюбленный в такие минуты.

Все же, чтобы вы не считали его невежей, я могу вам сообщить, что он дал слугам два дублона, стоимостью каждый по четыре дура, - в те времена такие еще бывали, - с тем чтобы один из них отправился в Севилью и купил все, что ему только захочется. Однако они этого не сделали и, поделив деньги между собой, направились к загородному дому, где служанки накормили их досыта. Лаура видела все это, и ей это доставило большое удовольствие. Слуги Лисардо не скрывались от ее родителей, и когда те, пожелав узнать, что они за люди, спросили у них об этом, они назвали себя музыкантами. Желая развеселить Лауру, отец ее предложил им войти, чему они чрезвычайно обрадовались, и когда принесли лютню, которая всегда находилась в загородном доме или, возможно, была привезена служанками Лауры, - а некоторые из них любили потанцевать на мавританский лад, - Фабио и Антандро запели прекраснейшими голосами:

Между двух ручьев, рожденных
Вешним солнцем из снегов
В день, когда по просьбе дола
Растопило их оно,

Злополучный и забытый, -
Ибо тем, кто ею полн,
Дарит только огорченья,
А не радости любовь, -

Сильвио сидел печально
И следил за бегом вод,

Насмехавшихся беспечно
Над отчаяньем его.

И под мирное журчанье
Как хрусталь прозрачных волн.
Звонко плещущих о берег,
Жалобно промолвил он:

"Раз ни ревностью терзаться,
Ни любить вам не дано.
Вправе вы, ручьи, смеяться,
Слыша плач унылый мой.

В том, кто любит знойный камень.
Сердце страстью сожжено.
Вам же зной любви не страшен,
Ибо холоден ваш ток.

В этом вы, ручьи, с Филидой
Схожи, хоть она душой
Несравненно холоднее
Скал, покрытых вечным льдом.

Ведь она, ручьям подобно,
Родилась на высях гор.
Лишь огнем насмешек едких
Взор сверкает у нее.

Мстя за них, сюда я скрылся,
Но едва взглянул в поток,
Как в глазах своих увидел
Два чужие ока вновь.

Я желаю мстить - и плачу,
Слезы же - бессилья плод,
Если у меня исторгла
Их не ярость, а любовь.

Но не жаль мне, что люблю я,
Ибо до таких высот
Это чувство дух подъемлет,
Что не помнит он про боль.

Жаль мне лишь, что от Филиды
Страсть свою я скрыть не смог,
Ибо ей в любви признаться
Значит стать ее рабом.

И поэтому сегодня
Я твержу под ропот вод,
Оглашающих жемчужным
Смехом этот тихий дол:

Раз ни ревностью терзаться,
Ни любить вам не дано,
Вправе вы, ручьи, смеяться,
Слыша плач унылый мой.

Слушая их песни, Лаура не могла решить, сложены ли эти стихи для нее или нет, и, хотя они полностью совпадали с чувствами Лисардо, однако жалобы на ревность показались ей несовместимыми с ее скромностью и уединенной жизнью, и потому она продолжала сомневаться. Но ведь влюбленные ревнуют без причины, и им не нужно повода, чтобы жаловаться, - они совсем как дети, которые часто сердятся на то, что сами же сделали.

Родители Лауры попросили Фабио спеть еще, если он не устал, и тогда он и Антандро запели на мотив непревзойденнейшего из музыкантов Хуана Бласа де Кастро следующие стихи:

_Сердце, для того ль ты скрылось.
Чтоб ночь мне в пытку превратилась_?

От тебя я жду ответа,
Сердце, ибо мы друзья:
Почему тобою я
Был покинут до рассвета?
Если ж повстречалось где-то
Ты с любимой моей,
Для того ль предстать пред ней
Ты, безумное, решилось,
Чтоб ночь мне в пытку превратилась?

Сердце, хоть у милой очи
Блещут гибельным огнем,
То, что видно им лишь днем,
Видишь ты во мраке ночи.
Злую долю мне пророча,
Ты опасней их втройне,

Ибо стоит вспомнить мне.
Для чего и где ты скрылось,
Чтоб ночь мне в пытку превратилась.

Ты уходишь ежечасно,
Сердце, не спросясь меня.
Хоть тебе вослед, стена,
Пленник твой, я рвусь напрасно,
Если смеешь самовластно
Расставаться ты со мной,
То признайся мне, какой
Ты надеждой обольстилось,
Чтоб ночь мне в пытку превратилась?

Как только на струнах лютней отзвучало эхо мелодии, - хотя, сколько мне помнится, инструмент был всего только один, - Лаура спросила Фабио, кто сложил эти строки. Фабио ответил ей, что их сложил кабальеро по имени Лисардо, юноша двадцати четырех лет, которому он и Антандро служат.

- Право же, - сказала Лаура, - он изрядный выдумщик.

- Да еще какой! - сказал Антандро. - К тому же, красив и отлично сложен, а самое главное - мужествен и скромн.

- А родители его живы? - спросил отец Лауры.

- Нет, сеньор, - ответил Фабио, - Альберто де Сильва умер; ваша милость, должно быть, изволили знать его в этом городе.

- Конечно, я его знал, - сказал старик, - он был весьма дружен со мною, да и со всеми знатными людьми города. Я помню и его сына, когда он был еще ребенком и только начинал учиться писать; рад слышать, что он вырос похожим на своего отца. Не собирается ли он жениться?

- Собирается, - ответил Антандро, - и всей душой стремится к браку с одной прекрасной девушкой, столь же щедро одаренной природой, как он, и такой же богатой.

После этого Менандре - так звали отца Лауры - велел их отблагодарить, и они ушли, чтобы обо всем, что между ними там говорилось, рассказать в глубине сада Лисардо, который ждал их, не надеясь для себя на что-нибудь хорошее.

Между тем Лаура, охваченная "тревожным беспокойством", как определяет любовь Овидий, была взволнована: она вообразила, что та девушка, на которой хочет жениться Лисардо, - не она и что все знаки его внимания по отношению к ней были притворством; она не поняла, что Антандро сказал все это, желая

намекнуть ей на стремления Лисардо, - ведь любовь всегда полна опасений и видит горе даже там, где ее ждет только счастье. Она больше не могла веселиться и, уверив родителей, что ей нездоровится, вернулась вместе с ними в Севилью. Всю ночь она почти не спала, а на следующий день эта мысль настолько ее опечалила, что она решила написать Лисардо письмо.

Пусть ваша милость судит сама, разумно ли поступила эта сеньора, я же никогда не берусь порицать тех, кто любит. Разорвав двадцать листков бумаги, Лаура вручила последний и самый неудачный из них Фенисе, и та с удивлением, близким к ужасу, отнесла его Лисардо, который в эту минуту садился на коня, чтобы отправиться на прогулку. Не помня себя от радости, он выслушал то, что Фенисе было поручено передать ему на словах, и увел ее за руку в небольшой сад, который находился перед входом в дом и радовал взор листвою нескольких апельсиновых деревьев; там, расцеловав ее в обе щеки, он взял письмо столь осторожно, как если бы оно содержало яд, сломал печать, бережно спрятал в карман конверт и прочел следующее:

"Годы, в течение которых вы позволяли мне считать себя вашей знакомой, обязывают меня к вежливости. Я поздравляю вас с решением, принятым вами, жениться на красивой и богатой даме, о котором рассказали моим родителям ваши слуги. Но умоляю вас, пусть она не узнает о моем дерзком поступке, иначе она сочтет меня ревнивой. Ваша милость не должна похваляться моим письмом, желая заслужить еще большую любовь этой дамы, так как эта сеньора не может быть настолько скромной, чтобы не понимать, что тот, кого она заслужила, достоин любви всех женщин".

С мягкой улыбкой более в глазах, чем на губах, Лисардо сложил письмо. Вспомнив рассказ Антандро, он догадался об ошибке Лауры и понял хитрость, примененную ею чтобы вызвать его на этот поединок пера и чернил, которые в любовных дуэлях выполняют роль плаща и шпаги. Он проводил Фенису в комнату для ученых занятий, украшенную письменными принадлежностями, книгами и картинами, где попросил ее заняться чем-нибудь, пока он напишет ответ, и Фениса стала рассматривать портрет Лауры, написанный превосходным художником по мимолетному впечатлению, ибо он видел ее только в церкви. А тем временем Лисардо писал, заботясь одновременно о быстроте и об изяществе слога. Окончив письмо, он открыл ларец и, вручив Фенисе сто эскудо, поведал ей о своих истинных чувствах.

Служанка ушла, и Лисардо еще два раза перечитал письмо Лауры, а затем, положив его в конверт, спрятал в ящичке письменного стола, где он хранил свои драгоценности, как бы желая придать ему достойную оправу.

Фениса вернулась к Лауре, ожидавшей ответа с заметным нетерпением. Она отдала своей госпоже письмо, рассказала о той радости, с какою Лисардо ее

встретил, о том, как убраны его комнаты, о великолепии всего дома; она умолчала только о ста эскудо - и напрасно, потому что подобные вещи тоже говорят в пользу того, кто любит и хочет быть любимым. Но было бы еще хуже, если бы она сказала, что получила половину этой суммы, как делают многие слуги, жестоко оскорбляя щедрость влюбленных.

Лаура вскрыла письмо с меньшими церемониями, хотя, вероятно, с большим нетерпением, и прочитала следующее:

"Сеньора, которой я служу по своей доброй воле и на которой мечтаю жениться, это ваша милость. Именно это сказал Антандро, и именно так должны были вы понять его слова. А потому, хотя бы это вам и доставило удовлетворение, вам все же пришлось бы завидовать самой себе, если бы я заслуживал того, о чем вы говорили из учтивости, ибо другой сеньоры у меня нет и не будет, пока я жив".

Когда я задумываюсь над тем, где начинается пролог истории двух влюбленных, любовь кажется мне самым замечательным творением природы, и в этом я не ошибаюсь, ибо всей философии известно {10}, что она заключает в себе зарождение и существование всех вещей, которые живут в союзе с нею столь же, как и с небесной гармонией, а из мудрого наблюдения, гласящего, что все возникает в борьбе, видно, что одни и те же предметы отталкиваются и соединяются, из чего в свою очередь следует, что самые противоположные элементы присущи некоторым предметам и сообщают им свои свойства. Огонь и воздух сочетаются в теплоте, которую огонь делает чрезмерной, а воздух - умеренной, огонь и земля - в сухости, воздух и вода - во влажности, а вода и земля - в холоде, из чего вытекает, что любовь есть необходимость и, как и в этом случае, является основой всего, что зарождается и отмирает в природе. Однако ваша милость может возразить на это: "Какое отношение имеют элементы и основы зарождения любви к свойствам различных стихий?" Но пусть будет известно вашей милости, что наш человеческий организм происходит от них и что его гармония и согласованность зарождаются и поддерживаются на их основе, которая, как говорит философ, является корнем всех естественных страстей.

Какое здание возводит любовь на первом камне - письме, которое эта девушка безрассудно написала мужчине настолько юному, что с момента рождения он еще не изведal никакой другой любви! Кто видел прочное здание, построенное на бумаге? И может ли обещать долговечность стремительное желание двух наших влюбленных, которые начиная с этого дня стали переписываться и говорить друг с другом, хотя и не преступали границ скромности, рассчитывая на законный брак? Я не сомневаюсь в том, что, если

бы Лисардо в то время попросил руки Лауры, Менандро счел бы эту просьбу за счастье, но желание каждого из них завоевать любовь другого и убедиться в ней привело к промедлению, а отсюда и к различным злоключениям, как всегда бывает в делах, осуществление которых, как говорит Саллюстий {11}, все откладывается, в то время как решение их уже созрело.

У Лисардо был с детских лет один друг, равный ему по своим достоинствам и состоянию; звали его Октавио, происходил он из семьи неких генуэзских кабальеро, которым море не отплатило неблагодарностью за то, что они, рискуя не раз, вверяли ему свое состояние.

Октавио был безумно влюблен в одну куртизанку, которая жила в этом городе и вела такую вольную и разнузданную жизнь, что прославилась своими причудами и неприкрытым распутством. Бедному Октавио его безумство стоило немало и причиняло большой ущерб его состоянию, так как эта особа постоянно заставляла его покупать то, что он считал уже приобретенным.

Сознаюсь, что любовь без этого не удержишь, но алчность подобного рода женщин не знает пределов. Однажды мне привелось ухаживать за растениями в моем саду, которые от палящего зноя совсем увяли и поникли так, что я не надеялся, что они когда-либо выпрямятся; но, полив их вечером водой, я наутро увидел их такими же, как в апреле после ласкового дождя. То же самое происходит с появлением и исчезновением любви куртизанок, ибо золото и серебро способны оживить их чувство так быстро, что любовник, который был вчера вечером ненавистен им за то, что пришел без подарка, на следующее же утро может стать желанным, если что-нибудь принесет.

В конце концов Доротея - так звали эту особу, - позабыв обо всем, чем она была обязана Октавио, обратила свой взор на богатого перуанца (как принято их всех называть), человека средних лет, обладавшего довольно приятной наружностью, щеголеватого и неглупого. Вскоре Октавио догадался о ее неверности; проследив однажды, он увидел, что она, переодетая в чужое платье, вошла в дом упомянутого индианца {12}. Наш безумец, дождавшись, когда дерзкое судно выйдет из гавани, схватил ее за руку и, не страшась перуанца и не стыдясь соседей, дал ей несколько оплеух.

На крик Доротеи и служанки, пытавшейся ее защищать и получившей за это по заслугам, вышел Финео - так звали индианца - и вместе с двумя своими слугами помог ей уйти если не весьма почетно, то хотя бы без особого для нее ущерба. Октавио обратился в бегство, а бегство как говорит Карранса {13} и как утверждает великий дон Луис Пачеко {14}, не дает удовлетворения бежавшему; поэтому он рассказал своему другу Лисардо о нанесенном ему оскорблении, и тогда они, вместе с двумя музыкантами-слугами, о которых уже говорилось раньше, две или три ночи подряд подстерегали Финео, но тот не

выходил из дома, не приняв мер предосторожности. И вот в последнюю ночь, когда он, побывав у приятеля, возвращался к себе домой (о ночь, сколько несчастий у тебя на счету! Не напрасно Стаций {15} назвал тебя укрывательницей обманов. Сенека - ужасной, а поэты - дочерью земли и Парок, иначе говоря, дочерью смерти, ибо Парки убивают, а земля поглощает тех, кого хоронят), - итак, когда он возвращался домой, к нему навстречу вышли Октавио и Лисардо со слугами и нанесли ему несколько ударов кинжалами. Финео мужественно защищался с помощью обоих слуг, пока не упал мертвым, ранив Октавио шпагой, от чего тот через три дня тоже скончался. Эти три дня Лисардо скрывался, но так как суд потребовал, чтобы его силой извлекли из церкви, ему пришлось уехать. Много слез пролили Лаура и Лисардо, и вот он покинул Севилью и по совету друзей и родных отплыл в Индии, куда как раз отправлялась Новоиспанская флотилия {16}. Хотя убитые были и с той и с другой стороны, дело это оказалось настолько трудно уладить, что Лисардо не смог вернуться в Севилью так скоро, как он рассчитывал. Во время его отсутствия Лаура погрузилась в такую печаль, что родители, видя это, несмотря ни на что, отнеслись к Лисардо благосклонно и не возражали против того, чтобы он стал их зятем. Однако после двух лет ее безысходной тоски родители, желая развлечь ее, стали предлагать ей в мужья разных знатных людей, достойных ее красоты, совершенств и состояния. Но стоило им завести об этом речь, как Лаура всякий раз падала замертво. Поговорив с Фенисой и узнав от нее, что Лаура, все еще надеясь выйти замуж за Лисардо, не согласится ни на какой другой брак, Менандро решил написать подложное письмо, в котором среди прочих новостей ему сообщалось, что, находясь в Мексике, Лисардо женился. Письмо это, как бы случайно оброненное неким приятелем Менандре, навестившим их однажды, было найдено Лаурой, и она прочла в нем:

"О моем путешествии я могу сказать вам только, что все идет хорошо, и даже лучше, чем вы предполагали. Вице-король прибыл благополучно, и я думаю, что это будет нам всем на пользу, ибо этот достойнейший правитель ревностно служит богу и его величеству. Очень прошу вас оказать мне любезность и узнать, в каком положении находятся дела Лисардо де Сильвы, проживавшего в вашем городе, потому что дела его стали отчасти моими собственными, ибо я выдал за него мою дочь Теодору, к большой радости их обоих, сильно полюбивших друг друга.

Это для меня чрезвычайно важно, так как Лисардо намерен отправиться в Испанию хлопотать для себя о какой-либо должности при дворе. Я хочу чести для своего дома, - пусть же слава его начнется с этого кабальеро, которому, в придачу к тому, что он сам имеет, я дал вместе с дочерью шестьдесят тысяч

дукатов".

Что стало с Лаурой после этого подложного письма, вызвавшего у нее самую неподдельную скорбь, невозможно передать словами.

Бедный ее возлюбленный! В то время как он добивался свободы, чтобы увидеть ее, люди разлучали его с нею при помощи столь жестокой хитрости! И они не ошиблись в своем расчете, ибо - хотя ваша милость и сожалеет, вероятно, об этом - Лаура, проведя несколько дней в слезах, затем утешилась, как это бывает со всеми женщинами, и объявила своим родителям, что готова им повиноваться. Те, как только узнали, что их замысел увенчался успехом, стали подумывать о том, как бы подыскать ей мужа, который сумел бы разрушить ее любовь к Лисардо, чего не в силах была сделать столь долгая разлука. Был в городе один кабальеро, не столь красивый собой, как Лисардо, но зато богаче его жизненным опытом, рассудительностью и твердостью убеждений; многие мечтали, чтобы он стал их зятем, ибо взгляд его неизменно выражал спокойствие, а речи всегда были скромными.

Родители жениха и невесты договорились между собой об условиях брачного контракта, и так как дело обошлось без споров, то оказалось нетрудным заключить и самый брак с той поспешностью, которой желали родители Лауры.

Лаура вышла замуж, и поэт спросил бы в этом случае, был ли Гименей на ее свадьбе весел или грустен, и был ли в его руках яркий или тусклый факел. Таков был обычай у греков, подобно тому как римляне призывали на свои свадьбы Таласио {17}. Чтобы ваша милость знала, почему на своих свадьбах язычники зывали к этому имени, я расскажу вам, что Гименей был юноша родом из Афин, обладавший столь красивым и нежным лицом, что многие, глядя на его длинные локоны, какие и в наши дни носят, принимали его за женщину. Юноша этот пылко влюбился в одну красивую и знатную девушку, не надеясь достичь предела своих желаний, потому что происхождением, богатством и знатностью был гораздо ниже ее; итак, не питая надежды, Гименей, чтобы утолить свою любовь хотя бы созерцанием возлюбленной, переделся в женское платье и, смешавшись с девушками из ее свиты, в чем ему помог нежный румянец его лица, стал ее скромным слугой и сопровождал ее на празднествах и загородных прогулках, не решаясь открыть ей, кто он, чтобы не потерять ее. Но в это время с ним случилось то, что бывает со многими, а именно, что, желая обмануть других, они сами оказываются обманутыми. Однажды, когда его возлюбленная вместе с другими девушками отправилась за город на жертвоприношение в Элевзине, на берег внезапно высадились пираты и вместе со всеми девушками похитили переодетого Гименея. Погрузившись со

своими пленницами на корабль, они достигли ближайшей гавани и - после того, как каждый из них выбрал девушку по своему вкусу, - устроили на траве пирушку, желая, чтобы Церера и Вакх подогрели Венеру; но, утомленные греблей и расслабленные вином, они незаметно уснули. Гименей, во время этого тяжелого испытания не потерявший присутствия духа, - ибо красота не мешает мужчинам обладать смелым сердцем и я видел немало уродливых трусов, - вытащил шпагу из-за пояса атамана разбойников и отрубил ею головы у всех пиратов; после чего, посадив девушек на корабль, он, преодолев немало трудностей, вернулся вместе с ними в Афины. Отцы девушек, желая вознаградить его смелый и благородный поступок, убедили отца его возлюбленной отдать ему ее в жены. Гименей прожил с нею в мире, без ревности и каких-либо ссор, и у них было много детей, а потому афиняне начали приглашать его на свои свадьбы, как человека, чья собственная свадьба оказалась счастливой. Постепенно ему, словно покровителю браков, стали посвящать свадебные гимны, которых так много у греческих и латинских поэтов, да и самый брак называли его именем.

Не думаю, чтобы только что рассказанное понравилось вашей милости по той причине, что вы не питаете особых симпатий к афинскому сеньору Гименею {18}, но, по крайней мере, это отвлекло ваше внимание от той несправедливой обиды, которую причинила отсутствующему Лисардо свадьба Лауры и та легкость, с какою она, столь неудачно ему отомстившая, позволила себя уговорить, хотя после подобной уловки какую женщину не покинула бы надежда и какая из них не пожелала бы отомстить за себя? Ведь влюбленные женщины с таким бессмысленным гневом жаждут мести, что когда я вижу женский портрет, он мне кажется воплощением мстительности.

Марсело - так звали мужа Лауры - роскошно обставил свой дом и заказал нарядную карету, а ведь для женщин карета - самое большое удовольствие, и это, мне кажется, потому, что им мешают передвигаться их платья и собственная важность; особенно же стало это заметным после того, как они взгромоздились на пробковые подставки и сделались такими длинными, что их каблуки приходится вровень с мужскими коленями. Один идальго, мой друг, человек с хорошим вкусом, женился, и в первую ночь, когда он праздновал свой "гименей", как бы сказали греки, и свою "свадьбу", как говорят испанцы, он увидел, как его жена сбросила свои туфли на высоченных каблуках и оказалась такой низенькой, что он решил, будто его обманули и дали то, что стоило в два раза меньше. Жена спросила его: "Как вы меня находите?" На это он с неудовольствием ответил: "Я нахожу, что вашу милость выдали за меня так же, как мошенники продают свой товар, ибо в результате я оказался обманут на целых три локтя". Я утешил его словами того философа, который на вопрос

своего друга, почему он женился на такой маленькой женщине, ответил: "Из всех зол надо выбирать наименьшее". Но более верно то, что все эти мнения ошибочны, потому что добродетельная женщина, будь она высокая или небольшого роста, является честью, славой и венцом своего мужа, чему столько хвалы возносится в Священном писании, и горе тому больному, которого она не лечит, одинокому, которого она не утешает, и печальному, кого она не веселит!

Среди других предметов, которыми Марсело пополнил дом, был один раб. пользовавшийся его большим доверием, мавр по происхождению, попавший в плен при захвате коменданта Орана. Он смотрел за лошадьми, предназначенными для выезда, и объезжал двух знатных кордуанок - ибо и у лошадей бывает свое знатное происхождение и генеалогия. Пусть ваша милость не забудет о Зулемо, - ибо так звали этого раба, - так как мне нужно для дальнейшего, чтобы вы удержали его в памяти.

Супруги Марсело и Лаура жили мирно, хотя и не было у них детей, естественного следствия браков; а тем временем с помощью прошений, денег и давности, которые побеждают все, дело Лисардо закончилось, и он с талионами из Новой Испании появился в Сан-Лукаре. Затем, никому не сообщая о своих намерениях, ибо хотел обрадовать Аауру своим внезапным появлением, - ведь он не знал, что она вышла замуж, - он прибыл в Севилью. Дома ему ничего об этом не сказали, - то ли слишком увлеченные радостью свидания, то ли предполагая, что о таком важном для него событии, как замужество Лауры, он должен был уже знать, а быть может, просто не желая встретить его дурными известиями, что обычно бывает большой ошибкой со стороны родственников и друзей.

Поэтому, не меняя платья и только сняв шпоры, он часов около восьми вечера направился к дому Лауры. Во дворе его он услышал столь необычный шум, что у него замерло сердце и оледенела кровь. Выждав минутку, он спросил у слуги, отвозившего на место нарядную карету, ту самую, в которой, должно быть, прибыла недавно Лаура:

- Кто живет в этом доме?

- Здесь живет Менандро, - ответил ему тот, - и Марсело, его зять.

Это слово пронзило Лисардо сердце, и, охваченный дрожью, он сказал:

- Значит, сеньора Лаура вышла замуж?

- Да, - с уверенностью ответил слуга, и Лисардо заплатил ему за ответ слезами, внезапно хлынувшими из его глаз, чтобы помочь его сердцу в столь законном чувстве.

Он сел на скамейку, что стояла у ворот, и, не в силах говорить, ибо его душило горе, излил в слезах часть принятого им яда, после чего почувствовал некоторое облегчение. Наконец он поднялся, так как на него уже стали

обращать внимание, ибо он сидел на видном месте, и тогда прежде всего он выместил обиду на украшениях своего дорожного платья и перьях, - изорвав их в клочья, он усеял ими улицу, бормоча:

- Так поступили и с моими надеждами. Затем он перешел к перчаткам, а потом с такой силой рванул дорогую цепь, что она рассыпалась. Охваченный горем, юноша не менее полутора часов ходил взад и вперед по улице; внезапно услышав какой-то шум, доносящийся из залы, он схватился руками за прутья решетки и, не думая о том, что делает, заглянул в одну из створок окна и увидел сидящих за столом Лауру, ее мужа и ее родителей. Тут он лишился чувств и, упав на землю, пролежал некоторое время без сознания. Придя в себя, он снова взобрался на оконную решетку и увидел все великолепие роскошного, убранного серебром и хрусталем стола, довольство, написанное на всех лицах, и старание, с каким Марсело ухаживал за Лаурой.

Лисардо стал рассматривать его лицо и платье и обратил внимание на то, как приятно он держал себя за столом, - ибо умение есть изящно и опрятно является одним из искусств, которым обязательно должны владеть люди благородные; и ему показалось, что он никогда в жизни еще не видел более красивого мужчину.

О ревность, сколько ужасных дел ты сотворила, показывая все в искаженном виде! В уме у Лисардо замелькали мучительные предположения, и среди прочих было то, что Лаура, быть может, любит своего мужа; это казалось ему не лишним основанием, ибо, как ему казалось, ее нынешний супруг вполне заслуживает любви. Лисардо испускал тяжкие вздохи, желая, чтобы Лаура его услышала. Какое безумие! Но кто бы не утратил рассудка в такой беде! Закончился ужин в доме Марсело, и одновременно с этим пришел конец терпению Лисардо. После недолгой беседы супруги удалились к себе, а Лисардо остался на улице вместе со своими погибшими надеждами.

Между тем родственники Лисардо были чрезвычайно встревожены; они искали его всюду и спрашивали о нем у всех его приятелей. Тогда Антандро, вспомнив о любви его к Лауре, направился к ее дому и увидел своего хозяина, который стоял посреди улицы и если еще не утратил полностью свой рассудок, то, во всяком случае, уже потерял всю свою радость. С помощью разных доводов и уговоров слуга заставил Лисардо покинуть этот пост, на котором он, словно воин любви, простоял чуть ли не до рассвета, и привел его домой, надавав ему множество разумных советов; но, хотя Антандро и уложил его в постель, оба они не сомкнули глаз, ибо пока Лисардо сетовал на Лауру и рассказывал ему о том, что он видел, уже рассвело. Тогда Лисардо стал молить Антандро отправиться к дому Менандро и постараться, чтобы его заметила Фениса. Все сложилось чрезвычайно удачно: едва завидев Антандро, служанка, накинув на себя плащ, надела круглую шляпу - одну из тех, которые с таким

задором носят севильянки, - и выбежала к нему. Они еще не успели пересечь улицу, как Фениса наградила его целым ливнем поцелуев и принялась его расспрашивать о Лисардо, но в эту минуту на улице показался раб Зулемо, о котором мы уже упоминали, и Фениса, прервав разговор, вернулась домой.

Зулемо заметил чужестранца и, приревновав к нему Фенису, хотел за ним проследить; но Антандро ускользнул от него, затерявшись среди узких извилистых улиц, которых так много в этом городе. Придя домой, он сообщил Лисардо, что Лаура уже, наверное, знает о его возвращении в Севилью. Услышав об этом, наш пылкий влюбленный взялся за перо и, написав письмо, велел Антандро отнести его и постараться вручить Фенисе, пообещав девушке хорошую награду и множество подарков, если она сохранит это в тайне. Антандро выполнил поручение. Лаура, которая уже знала о приезде Лисардо, испытывая скорее любопытство, чем волнение, с суровостью вскрыла письмо и прочла следующее:

"Вчера вечером я вернулся в Севилью, чтобы твои глаза вновь даровали мне жизнь после той смерти, в которой пребывала моя душа, пока я находился вдали от тебя, и чтобы, выполняя данное мною тебе обещание, стать твоим мужем. Но первое, что я здесь узнал, сказало мне, что муж у тебя уже есть, и сразу же вслед за тем я увидел его. Это причинило мне столько горя, что только страх погубить свою душу помешал мне расстаться с жизнью. Ты безжалостно обошлась с моей доверчивостью: совсем другое говорила ты мне, когда я отправлялся в Мексику, подкрепляя свои слова слезами. Но ты женщина, а женщины - и радость и горе мужчины. Однако, чтобы ты могла видеть разницу между твоей любовью и моею, я до тех пор, пока буду располагать своим достоянием, останусь жить в Севилье, облачившись в печальную одежду монаха, ибо только от неба жду я себе помощи, раз на земле нет у меня надежды от кого-либо ее получить".

Без всякого волнения, как сказал я, раскрыла Лаура это письмо, но когда она его снова сложила, волнение ее было велико. Предположив, что Лисардо мог ей солгать, - а это делают многие, когда доказательства их лжи находятся где-то далеко, за семью морями, - она раскрыла ларец, где без какой-либо определенной цели хранила подложное, написанное ее отцом письмо, которое она уже не раз намеревалась порвать, вложила его в конверт и отослала Лисардо.

Получив письмо от Лауры, Лисардо почувствовал некоторую радость, но когда он его распечатал и увидел подделанную подпись одного купца, которого знал в Мексике, он прочитал это письмо и, вздохнув, сказал грустным

голосом: "Вот это меня убило". Прошел день, и когда Лисардо, приказавший, чтобы ему сшили траурное платье, появился в городе, он настолько изменился в лице, что его стали спрашивать о причине этого, и он отвечал на все вопросы, проявив немало изобретательности. Вернувшись домой, он снова сел писать Лауре, намереваясь высказать ей следующее:

"Письмо, присланное мне вами, измыслила моя судьба, чтобы отнять у меня все мое счастье. Но хотя оно выглядит достаточным для вас оправданием, все же оно не может являться им, так как вслед за этим не последовало больше ни одной записки, а ведь равнодушие бывлой возлюбленной не приносит чести внезапно охладевшей, точно так же, как без чести бывают сломлены шпаги дворян, признавших себя побежденными. Я покинул Севилью против желания, почти расставшись с жизнью, переплыл океан, а когда достиг Мексики, то со мною не было моей души. Я жил без жизни, сохранил свою верность неприкосновенной, вернулся, полный надежд, нашел свою смерть, и во всем этом меня должно утешить это ложное письмо! Но меня не может утешить ваша холодность, ибо презрение ко мне, даже в избытке счастья, которое дает вам ваше новое положение, означает недостаток тонкости в вашей вежливости".

На это послание Лаура ответила письмом, которое приводится ниже:

"То, что вам могло показаться марающим мою честь, не накладывало пятна на вашу, но если я и проявила невежливость, то ее вполне заслуживает человек, который отрицает свою женитьбу в Индиях и желает, чтобы я поверила в то, что он не женился, в то время как его траурное платье подтверждает это, показывая, что он овдовел, и, значит, то письмо заключало в себе правду".

Лисардо решил изменить ее мнение и, видя, что траурное платье, которое он надел на себя, желая заставить ее проникнуться жалостью к его любви, повредило ему еще больше, сбросил его в тот же день, так как был праздник, облачился в самые красивые и дорогие наряды, какие только у него были, и, увешанный драгоценностями, направился к церкви святого Павла, куда Лаура обычно ходила к обедне. Она увидела его в платье, столь не похожем на вчерашнее, и это подтвердило ей притворность его траура и ложность полученного ею письма.

Все это, вместе с настойчивостью Лисардо, разворошило пепел погасшего было огня, и, как в пепле иногда вдруг засверкают искры, так и в душе их стала снова разгораться былая любовь. Фениса носила письма, получая за это деньги и наряды, Лаура казалась влюбленной, смелость Лисардо росла, и вскоре надежда на какую-нибудь милость вернула ему покой, и он стал вести себя как

истинный кабальеро. Марсело смотрел сквозь пальцы на причуды Лауры, так как ему казалось, что в ее юные годы трудно усвоить правила строгой и уединенной жизни, и под покровом его беззаботности росло влечение обоих влюбленных, а вместе с тем и их смелость.

Их письма друг к другу превратились в привычную переписку, и любовь постепенно стала стремиться к менее честным целям. Все это случилось потому, что Марсело не был истинным влюбленным и не обладал искусством внушать любовь, как и некоторые другие люди, которые не придают этому значения и считают, что все достигается знатностью имени, забывая, что женатому человеку следует заботиться одновременно о двух вещах: он должен быть мужем и должен быть также возлюбленным, чтобы выполнять свои обязанности и быть всегда уверенным в успехе. Я уже слышу, как ваша милость восклицает: "О, сколь многим вам обязаны женщины!" Но я заверяю вас, что мною руководит более разум, чем склонность, и, если бы это было возможно, я бы учредил целую науку о супружестве, которой обучались бы те, кому с мальчишеских лет предназначено быть мужем; и как теперь родители часто говорят друг другу: "Этот мальчик УЧИТСЯ, чтобы стать монахом, этот - священником" и так далее, - тогда стали бы говорить: "Этот юноша учится, чтобы стать мужем". И не было бы невежды, который бы считал, что женщина, раз она замужем, сделана из другого теста и что больше нет надобности служить ей и делать ей подарки, потому что она уже принадлежит ему по закону, как если бы ее ему продали, и что он имеет право заглядываться на множество других женщин, не уделяя внимания, - а между тем это было бы лишь справедливо, - той, которая доверила ему все лучшее, чем владеет душа, а именно: свою честь, жизнь, спокойствие и еще многое другое. А ведь сколько мужей оттого только, что не думают об этом, теряют своих жен! Скажите же теперь, ваша милость, умоляю вас, похожа ли эта новелла на проповедь?

Нет, сеньора, отвечу я вам с уверенностью, потому, что я не читаю проповедей на кастильском языке, как это уже становится принятым в обществе, и потому, что рассуждение это пришло мне на ум само собой и я всегда считал его справедливым.

Лисардо не терзался больше мыслью о том, что он утратил Лауру, ибо ему казалось, что никак нельзя назвать утратой близость к тому, что стоило ему стольких лет страданий: ведь если любовные желания, как бы ни выражались они, всегда имеют определенную цель, то если даже эта цель может быть достигнута лишь с помощью мимолетного воровства и под угрозой чужого бесчестия и собственной опасности, к ней все же стремятся и ее достигают.

Лисардо любил, видя, что его поощряют; Лаура, предоставленная свободе и забывшая о собственном долге, не задумывалась о том, к чему приводит

подобная вольность. Антандро был их поверенным, а Фениса наперсницей. Влюбленные нежно поглядывали друг на друга в церкви, на улице они обменивались любезностями, за городом вели беседы, а иной раз переговаривались через оконную решетку в то время, когда Марсело спал. Иногда Лисардо становился еще смелее, и тогда Фабио вместе со своим другом, нарушив тишину и спокойствие ночи, пели что-нибудь в таком роде:

Душа моя Белиса,
У глаз твоих прелестных
Должно учиться солнце,
Как свет струить на землю.

Белиса, ты прекрасней
Зари на ясном небе,
Светлей его лазури,
Нежней звезды вечерней,

Которая в долине
У нас теперь известна
Скорее под названьем
Белисы, чем Венеры.

Хотя твоей красою
Я упоен безмерно,
Хочу я славить только
Твой разум несравненный.

Кто отрицать дерзнул бы,
Что вложен провиденьем
Дух ангельски высокий
В твое, богиня, тело?

Я счастлив тем, что стала
Ты госпожой моею.
Хоть жизнь и смерть с собою
Приносит мне надежда:

Жизнь - ибо побуждает
Идти к заветной цели;
Смерть - ибо раздувает

Огонь желаний тщетных.

Слышал, моя Белиса,
Я жалобы нередко,
Что для людей проходит
Чрезмерно быстро время.

А я грущу при мысли,
Что время так неспешно,
Что для меня годами
Оно стоит на месте.

Любовникам так часто
Служил Тантал примером.
Но мне в моей высокой
Любви сравниться не с кем.

Затем, что в целом мире
Я только ей владею,
Что все мои деянья -
Лишь в тайных помышленьях.

Любовь меня сковала
Цепями так надежно,
Что я, хоть цель и близко,
Не достигаю цели.

Кто перенес, Белиса,
Чистейший перл небесный.
Тебя в долину нашу
Из царства сновидений?

Ведь стоит мне подумать,
Что стала ты моею,
И я, очнувшись, вижу.
Что ты, как сон, исчезла.

Любовь моя родилась
На свет с твоим рождением.
О госпожа, с тобою

Она росла и крепла.

Теперь она огромна,
Но ей, равно как прежде,
В моей груди просторно,
В твоей же - слишком тесно.

Надежда мне приносит
Лишь новые мученья:
Последнее теряешь,
Ее посулам веря.

Ах, чем сильнее желанья,
Тем призрачней надежда:
Она в них утопает,
Как в море неисчерпном.

Как мало упований
Из бездны их извлек я!
Недаром тот, кто любит,
Всегда недолговечен.

Белиса, я не в силах,
Покуда мы не вместе,
Ни быть влюбленным больше,
Ни встречи жаждать меньше.

Так жил, питаясь надеждами, Лисардо, порою веселый, а порою и грустный. Лаура, получая от него письма и другие знаки внимания, то отдаляла его от себя, то внушала ему уверенность; и все свои сомнения и желания он выразил однажды в таких стихах:

Нет, не думай, мысль, что мне
Ты наносишь оскорбленье:
Я тебе за поношенье
Лишь признателен вдвойне,
Ибо вправе ты вполне
В гневный спор со мной пускаться,
Если ветреной казаться
Мною ты принуждена:

Ведь надежда не дана
Тем, что к цели не стремятся.

Ты и я теперь полны
Столь высокою мечтою,
Что друг к другу мы с тобою
Ревновать подчас должны,
Хоть мы все-таки дружны,
Ибо с помощью твоею
Ею я во снах владею.
Ты ж, в бесстрастии своем,
Мне упрек бросаешь в том,
Что ее я вождею.

Обвинением таким
Вновь отсрочен миг счастливый,
Как ни рвусь, нетерпеливый,
Я скорей упиться им.
Так жестоко я томим
Этой долгой мукой крестной,
Лишь тебе одной известной,
Что не будь ты - мысль моя,
Не отважился бы я
В ней тебе признаться честно.

Втайне я свершить страшусь
То, чего желаю страстно;
Ожиданием напрасно
Обмануть себя я тщусь;
Я колеблюсь и бешусь,
Хоть решил без колебанья
Домогаться обладанья
Тем, чего алкать устал.
Ибо я, как царь Тантал, -
Пленник своего желанья.

Огорчительней всего,
Что награды избегает
Тот, кто счастья достигает.
Но не заслужил его.

Из-за горя моего
Веря в то, в чем ложь я чую,
Я болезнь на миг врачую,
Чтобы заболеть опять
И лишиться сил желать,
Хоть еще желать хочу я.

За бывшее, госпожа,
Ты сполна воздашь мне скоро
Той тревогою, в которой
Я живу, тебе служа.
Смерть зову я, то дрожа,
То с отчаяньем холодным
В лабиринте безысходном,
Ибо выхода назад
Я не нахожу, хоть рад
Был бы снова стать свободным.

В этих стихах Лисардо был менее почителен и любезен, чем в других случаях, так как в них он вел разговор со своей мыслью. Итак, он признавался, что старался найти выход, как если бы не был знаком со словами Сенеки, который говорил, что попасть в лабиринт любви легко, а выбраться из него трудно. Не знаю, может ли служить извинением нашему кавальеро мнение величайшего из философов {19}, утверждавшего, что любовь не имеет целью обладание любимым существом, но вместе с тем не может без этого жить. Я бы с удовольствием попросил его разъяснить мне эти слова, если бы он жил сейчас, даже если бы для этого мне нужно было съездить в Грецию, так как мне кажется, что между этими двумя положениями имеется некоторое противоречие. Мне думается все же, что он хотел этим сказать, что истинной может быть и любовь, мечтающая об обладании, и та, которая не стремится к нему. Пусть ваша милость решит, какая именно любовь владеет ее умом, и простит молодости Лисардо то, что он не любил Лауру платонической любовью.

Итак, переходя от одной черты к другой, Лисардо стал близок к последней из тех пяти черт влюбленного, которые Теренций описал в "Андрিয়нке". И в ответ на его страстные уговоры Лаура написала ему следующее:

"Если бы ваша любовь была истинной, мой Лисардо, она бы удовлетворилась тем положением, в котором вы, вернувшись из Индии,

нашли мою честь; ведь вам хорошо известно, что я вышла замуж потому, что меня обманули, что я ждала вас, надеясь на вашу верность, и оплакивала вашу женитьбу. Как вы можете желать, чтобы я нарушила свой долг перед родителями, надругалась над честью мужа и подвергла опасности свою добрую славу? Ведь все эти доводы настолько важны, что о каком бы из них я ни задумалась, мне делается ясно, что ваше удовольствие вам дороже, чем любой из них в отдельности или даже все они, вместе взятые. Мои родители благородного происхождения, мой муж своей любовью и своими подарками делает меня ему обязанной, и мое доброе имя - лучшее мое украшение. Что же станет со мной, если я все это утрачу из-за вашего безрассудного желания? Смогут ли мои родители восстановить общее к ним уважение, муж мой - свое честное имя, а я - свою честь? Будьте же довольны, сеньор, тем, что я полюбила вас сильнее, чем люблю моих родителей, моего повелителя и себя, и не говорите мне, что если бы это в самом деле было так, то я бы для вас всем пожертвовала. Признаюсь, что, на первый взгляд, такой довод кажется справедливым, но если подумать над ним, то становится ясно, что он ложен, ибо я могу вам на это ответить, что если вы не в силах пожертвовать для меня тем, что вы сами можете при желании в себе подавить, то как же вы хотите, чтобы я пожертвовала тем, что, будучи отдано мною вам однажды, никогда уже больше ко мне не вернется.

Скажите же, кто из нас решается на большее в горьких превратностях нашей любви: я - женщина, страдающая так же, как вы, или вы, желающий погубить меня, чтобы больше не страдать? Я бы напомнила вам несколько несчастных историй, но мне известен ваш характер, и я знаю, что вы пробежали бы эти строки, подобно человеку, который столкнулся на улице со своим врагом и притворяется, что не замечает его, до тех пор, пока не завернет за угол.

Я бы подчинилась любви, если бы за это должна была только расстаться с жизнью, и тогда вы могли бы увидеть, что моя любовь не побоялась пожертвовать ею для вас, и я приняла бы смерть с радостью. Окажите мне милость, пусть это письмо судит ваш разум, а не ваши чувства; и тогда оно умерит ваше желание и продолжит нашу любовь; если же будет так, как хотите вы, то ей грозит опасность закончиться очень скоро".

Лисардо, который временами мечтал об осуществлении своего желания и своих надежд и который уже замечал признаки, ему это сулившие, едва не расстался с жизнью, он заплакал, потому что ведь Амур - дитя, и, как дитя, бросающее на землю то, что ему дают, хотя бы это и было тем, чего оно само просило, Лисардо отнесся к письму Лауры без должной почтительности. Он, который всегда чтит ее послания, на этот раз осыпал полученный им листок

обидными и дерзкими словами. Наконец, схватив перо и бумагу, он написал ей следующее письмо:

"Я люблю вас истинной любовью, несравненно более сильной, чем любовь вашей милости, и если мое желание задевает вашу честь, то в этом повинен не я, а та, которая сделала его столь безумным; такой беды могло бы и не случиться, если бы ваша милость не оказывала мне столько знаков внимания, а я не обманывал бы самого себя.

К вашим родителям, супругу и вашей чести я отношусь со всей возможной почтительностью и умоляю извинить мне прежнее мое недостаточное уважение к ним; я открыто отрекаюсь от былых заблуждений, дабы моя нынешняя скромность намного превзошла вольность моих прежних мыслей. Но вина моя лишь в том, что я с самого начала захотел стать вашим мужем, и меня ни на минуту не покидало желание достигнуть этой честной цели, хотя и сознаю, что допустить это чувство означало пить сладкий яд и что привычка эта имеет надо мной столько власти, что, будучи не в силах забыть вашу милость, я вынужден отсюда уехать. Завтра я отправлюсь ко двору, где буду стремиться получить должность, так как то, к чему мы с вами стремились оба, не смогло осуществиться. Быть может, двор с разнообразием его жизни заставит меня забыть мои безрассудные мечты, а если этого не случится, то очень скоро жизнь перестанет меня утомлять".

Письмо это вызвало у Лауры немало слез, но, думая, что Лисардо не сделает того, что, казалось ей, он не может сделать, она не позаботилась о том, чтобы это предотвратить. Несчастный юноша прождал два дня, а когда они миновали, он вместе с Антандро и Фабио покинул Севилью, проехав в почтовой карете мимо дома Лауры, которая, услышав звук рожка и повинувшись биению своего сердца, отложила в сторону рукоделие и бросилась к решетке, где, бледная как полотно, она стояла до тех пор, пока карета не скрылась из глаз.

Лисардо так не хотелось ехать ко двору, что в каждом городе, куда они прибывали, он заговаривал о том, чтобы вернуться назад. В первые несколько дней его немного развлекли дворец с канцеляриями, жалобщиками и просителями должностей, множество кабальеро, знатных сеньоров, дам, различных нарядов и всевозможных лиц, съехавшихся со всех концов Испании и нашедших себе здесь пристанище, и Прадо с бесконечной вереницей карет, в окнах которых мелькают поднятые для приветствия и сразу же опускающиеся руки.

Немного осмотревшись, он начал делать визиты, которые, возможно, отвлекли бы его, если бы продлились несколько дольше, от мыслей о красоте и

благоразумии Лауры, - ведь на дворцовых лугах пасется самый красивый молодняк. Но в то время, когда он уже совсем потерял надежду и начал думать, что любовь Лауры была от начала до конца обманом, ему вручили письмо от нее, в котором она писала:

"Сеньор мой, я убедилась, что ваша любовь ко мне основывалась лишь на желании, и вы любили меня так мало, что, зная о том, что ваше отсутствие убьет меня, все же уехали, и не куда-нибудь, а ко двору, избрав тем самым верное средство, ибо вам было известно, что именно там находится река забвения, в которой, говорят, многие так и остаются, чтобы никогда больше не вернуться к себе на родину. Я не стану говорить о том, сколько я пролила из-за вас слез и как я изменилась по вашей вине, но все, кто меня видят, меня не узнают, хотя все эти люди живут в моем доме, из которого я еще ни разу не выходила. Я умираю, и если какая-нибудь песчинка из этого моря красоты, ума и нарядов еще не привязала к себе вашу душу, отзывчивость которой мне известна, возвращайтесь прежде, чем ваше отсутствие успеет лишить меня жизни, потому что я решилась подчиниться вашим желаниям, не думая больше о родителях, муже и чести, так как все это кажется мне ничтожным по сравнению с горем утратить вас".

Поверьте, сеньора Марсия: сейчас, когда я дошел до рассказа об этом письме и о решении, принятом Лаурой, у меня не хватает сил, чтобы закончить эту повесть. О безрассудная женщина! О женщина! Но мне кажется, что мне могут напомнить слова, которые произнес, стоя уже на лесенке, один висельник, обращаясь к тому, кто помогал ему умереть и при этом весь обливался потом: "Отец мой, я ничуть не вспотел, так почему же потеет ваше преподобие?" Если Лаура не беспокоится о позоре и об опасности, то к чему должен утруждать себя тот, кто обязан лишь рассказать обо всем, что случилось, ибо, хотя повествование это и кажется с виду новеллой, на самом деле оно является правдивой историей.

Почти лишившись рассудка, Лисардо в тот же день покинул Мадрид, купив своим слугам роскошные ливреи на той чудесной улице, где, не снимая мерки, оденут кого угодно, а кроме того, два ожерелья, по тысяче эскудо каждое, для Лауры, ибо даже самой богатой женщине в мире бывает приятно получать подарки, в особенности после разлуки. Невозможно передать, как он безумствовал в дороге, ибо безумство его можно было бы сравнить только с его счастьем, а счастье его было столь велико, как и его желание. Наконец он - удивительное дело - благополучно достиг Севильи, и на другой день во время его продолжительного пребывания в ее доме Лаура исполнила свое обещание.

На этом их любовь не кончилась, как это часто бывает; напротив, от этих встреч она стала еще более пылкой, а встречи постепенно становились более частыми, чем они должны были быть, чтобы оставаться благоразумными, ибо то, что любовникам кажется блаженством, чаще всего приводит их к гибели и лишь в редких случаях кончается только разлукой.

В это время умерла Росела, тетка Лисардо; она была вдовой, и Лисардо должен был взять к себе в дом Леонарду, свою кузину, девочку тринадцати или четырнадцати лет, очень стройную и хорошенькую. За несколько дней, которые она у него провела, Антандро столь безрассудно влюбился в эту девушку, что его дерзкие чувства заметили остальные слуги Лисардо и кто-то из них рассказал ему о происходящем, опасаясь какой-нибудь из тех бед, которые так часто происходят, когда девушки еще столь невинны и неосмотрительны. Какими удивительными путями идет судьба, приносящая несчастья! Лисардо был так возмущен наглостью Антандро, что не на шутку его выбранил, а тот стал ему отвечать на его справедливый гнев с неподобающей дерзостью и тогда Лисардо схватил алебарду, которая находилась у изголовья его кровати, и принялся бить Антандро ее рукояткой, ранив при этом его в голову, так что слуга должен был целый месяц пролежать в кровати и прошел еще месяц, прежде чем он вполне выздоровел. Лисардо помирился с ним, хотя в таких случаях мир всегда бывает непрочен, и снова с неразумной доверчивостью стал поверять свои тайны Антандро, который однажды, после того как Лисардо укрылся в доме Лауры, как он часто делал это и раньше, окликнул Марсело и у входа в одну небольшую церковь сказал ему, что Лисардо лишает его чести, и изложил ему во всех подробностях то, что ему было столь хорошо известно с самого начала этой злосчастной любви. Для того чтобы Марсело не подумал, что он его обманывает, желая получить деньги или отомстить какому-нибудь своему врагу, он предложил ему отправиться к себе домой, где сейчас укрылся Лисардо, и заглянуть в комнату, примыкавшую к саду, в которой хранились для зимы циновки и разная садовая утварь. Марсело долго не в силах был ему ничего ответить, и наконец с осмотрительностью, которая не покинула его в такую трудную минуту, он сказал слуге Лисардо: "Пойдемте со мной, ибо я хочу, чтобы первый человек, сказавший мне об этом, первый увидел, как я отомщу". Антандро пошел вместе с Марсело и оставил его только у самого входа в дом, куда Марсело вошел один и направился к упомянутой комнате, где за одной из циновок он обнаружил Лисардо и сказал ему следующее:

- Безрассудный юноша, хотя вы и заслуживаете смерти, но вы ее не примете от моей руки, так как я не хочу верить, чтобы Лаура нанесла мне такое оскорбление, и полагаю, что только ваша безумная дерзость привела вас сюда.

Лисардо, полный смятения, стал подкреплять это мнение всякими клятвами

и уверениями.

Марсело сделал вид, что поверил ему, и, выведя его в сад, открыл потайную дверь, скрытую плющом. Выйдя на улицу, ошеломленный юноша, сам не зная как, добрался до своего дома. Терзаясь самыми ужасными сомнениями и вопросами, ни один из которых не находил ответа, он без сил упал на кровать, мечтая лишь о смерти.

Что касается Марсело, то, выпроводив Лисардо, он вышел на улицу и сказал Антандро:

- Вы, должно быть, питаете злобу к этому кабальеро: его нет ни в указанной вами комнате, ни вообще во всем доме. Знайте, что я не наказываю вас, как вы того заслуживаете, только потому, что людей, подобных вам, карает правосудие. Кто вам сказал, что этот человек являлся сюда, чтобы меня оскорблять?

- Сеньор, - ответил смутившийся Антандро, - мне об этом сказала одна ваша служанка, по имени Фениса.

- Отправляйтесь же с богом по своим делам, ибо вы не знаете ни дома, который желаете обесславить, ни моей жены, которая выше столь гадких подозрений.

На этом совершенно растерявшийся Антандро распрощался с Марсело и, полный опасений, не решился вернуться в дом Лисардо, а вместо того поспешил где-то укрыться на несколько дней.

Марсело, у которого на самом деле составилось несколько иное мнение о добродетели Лауры, колебался между доверчивостью и отчаянием и, опечаленный своими предположениями и горькой истиной, стойко переносил это несчастье, терпеливо ожидая случая, который принес бы ему удовлетворение; ни перед одним человеком, обладающим честью, не стояло еще столь трудной задачи. "О вероломная Лаура, - говорил он себе, - возможно ли, чтобы в такой совершенной красоте свил себе гнездо порок, чтобы твои складные речи и честное лицо прикрывали столь бесчестную душу? Чтобы ты, Лаура, изменила небу, своим родителям, мне и своему долгу? Но что же я сомневаюсь, когда я видел собственными глазами наглого соучастника твоего преступления и прикасался к нему собственными руками? Могу ли я еще сомневаться, когда твой проступок осквернил святыню нашего брака, а жестокость нанесенного мне оскорбления пробудила во мне обязательства перед честью, с которой я рожден? Я это видел, Лаура, и я не могу не замечать того, что я видел. Любовь моя не может избежать этого оскорбления, хотя мстить я должен чужими руками. Как я несчастен! Ведь мне труднее стремиться к твоей смерти, чем тебе расстаться с жизнью, потому что я должен ее отнять у той, которая мне настолько дорога, что я страдаю от этой мысли сильнее, чем ты будешь страдать от боли, хотя и мучительной, но уже последней".

Так говорил себе Марсело, стараясь притворной веселостью скрыть свою безумную печаль. Он принялся осыпать Лауру знаками внимания, как человек, прощающийся с жертвой, которую он должен возложить на алтарь своей чести. Чтобы доказать себе ее вину, он, когда Лауры не было дома, с помощью заказанных им ключей открыл все ящики ее стола и ознакомился с их содержимым. Он нашел в них портрет Лисардо, связку писем, лент, разные милые пустячки, которые любовь называет своими знаками, и два ожерелья. На что, сеньора Марсия, надеются любовники, которые, зная об опасности, хранят все это? А что касается писем, то сколько бед они причинили! Кто не испытывает страха в то время, когда пишет письмо? Кто не перечитывает его много раз, прежде чем поставить под ним свою подпись? Люди совершают, не задумываясь, две чрезвычайно опасные вещи: пишут письма и приглашают в свой дом друга, и если не всегда, то, во всяком случае, очень часто, и то и другое губит жизнь и честь человека.

Лаура уже обо всем знала и, видя Марсело таким веселым, думала иногда, что он принадлежит к числу тех мужчин, которые с кротким терпением переносят пороки своих жен, но иногда ей казалось, что терпит он только в ожидании случая, который позволит

ему застать их обоих вместе, хотя она надеялась, что ей удастся себя от этого уберечь. Но Марсело вовсе не ждал случая, чтобы убедиться в полученном оскорблении, ибо он знал, что его оскорбляли уже давно, и вынес свой приговор. Все время думая об этом, он постарался разжечь ненависть между своим рабом и Лаурой, говоря ей, что он желает как-нибудь от него отделаться, так как ему сказали, что Зулемо ее ненавидит, и будто бы он уже много раз принимал решение убить Зулемо, так как не может выносить в своем доме человека, который бы не прислуживал ей с обожанием.

Лаура, совершенно не виновная в этом, стала сурова к Зулемо в словах и на деле и даже приказывала публично его наказывать, чему Марсело радовался необыкновенно. В конце концов все это достигло предела, так что весь дом и даже все соседи знали, что больше всего на свете Зулемо ненавидит свою госпожу.

Лаура догадывалась, что Зулемо знает о предательстве Антандро, и потому жаждала его скорейшей смерти, но не решалась просить Марсело, чтобы он продал раба, так как боялась, как бы тот не стал бесчестить ее за пределами их дома. Когда Марсело решил, что об этой ненависти все уже достаточно знают, он позвал к себе Зулемо и, запершись вместе с ним в потайной комнате, после долгих предисловий стал подбивать его на убийство Лауры и вручил ему кошелек с тремястами эскудо. Зулемо, этот дикарь, питавший злобу к своей хозяйке и постоянно видевший покровительство Марсело, помимо денег

предложившего ему коня, на котором он бы мог достичь морского берега и там дожждаться алжирских галионов, часто появляющихся между Альфакой и Картаженой, согласился на это; выждав удобный случай, он, с лицом, искаженным злобою, и в душе решившись на все, вошел в комнату Лауры и нанес ей три удара кинжалом, от которых она с отчаянным стоном упала на подушки.

На крик, поднятый слугами, вошел Марсело, который с нетерпением ждал, когда это случится, и тем же самым кинжалом, вырванным им из рук Зулемо, он с помощью нескольких слуг нанес ему столько ударов, что свирепый раб, не успев назвать того, кто приказал ему убить Лауру, испустил дух. Услышав о несчастье, сбежались соседи, родственники, стража и родители умершей, но среди всех слез слезы Марсело были самыми горестными и, возможно, самыми искренними. Труп раба отдали двум молодым слугам, здоровенным и неумолимым, которые, протащив его волоком по всем улицам города, достигли поля и там засыпали камнями.

- О дочь моя, - восклицал убитый горем старый отец Лауры, держа ее в объятиях, - единственная отрада моей старости!

Кто мог подумать, что тебя ожидает такой печальный конец, что твою красоту покроет твоя же кровь, пролитая рукой дикой собаки из самой жалкой в мире страны! О смерть, для чего ты сохранила мою старую жизнь, или ты хотела сразить такое слабое сердце столь беспощадным ядом? О, кто захочет жить, чтобы умереть от ножа, пролившего его же кровь!

Лисардо, который сразу же узнал о случившейся беде, обезумев от горя, явился в дом Лауры и, смешавшись с толпой людей, увидел свою возлюбленную, лежащую все в той же комнате, подобно свежей розе, сраженной жаром полуденного солнца. В эту минуту никто не мог удержаться от слез, но слезы Аисардо были настолько горькими, что одному Марсело было известно, как тяжело поразило его это кровавое событие.

Наконец все покинули дом, и Лисардо, вернувшись к себе, заперся в своих комнатах и четыре месяца не выходил из них. Никто даже не видел, чтобы он разговаривал с кемлибо, кроме родственников; он весь превратился во вздохи и слезы, которые стали для него тем, чем для всех людей является пища.

Между тем Марсело разделался с Фенисой, отравив ее ядом так, что никто не смог узнать о причине ее внезапной и мучительной смерти. Он всячески старался разыскать Антандро, и, узнав, где тот обычно ночует, он поздним вечером дождался его прихода и, подозвав его к дверям, три раза подряд выстрелил ему в спину. Чтобы довершить свою месть, ему оставалось покарать только несчастного Лисардо, горе которого сделало его таким затворником, что исполнить это было невозможно. Честь Марсело могла бы вполне

удовлетвориться тремя жизнями, и если, по законам общества, она была запятнана, то разве столько пролитой им крови не смыло это пятно? Ибо, сеньора Марсия, хотя закон из уважения к справедливому горю и позволяет мужьям поступать так, все же никто не должен следовать их примеру. Но история, мною рассказанная, пусть послужит уроком для женщин, которые из-за своих разнузданных желаний приносят в жертву минутному наслаждению свою жизнь и честь, нанося тем самым тяжкое оскорбление богу, своим родителям, мужу и доброй славе. Я всегда считал, что пятно на чести оскорбленного никогда не может быть смыто кровью того, кто его оскорбил, ибо то, что уже произошло, не может больше не быть, и безумие воображать, что, убив оскорбителя, можно снять с себя оскорбление: ведь на самом деле оскорбленный остается со своим оскорблением, тогда как наказанный умирает, и оскорбленный, удовлетворив порыв своей мести, не может восстановить свою честь, которая, чтобы быть безупречной, должна быть обязательно незапятнанной. Можно ли сомневаться в том, что мои слова встретят бурю возражений? Но все же, хоть я и не пытаюсь перекричать моих спорщиков, отвечу, что не следует ни молча сносить оскорбление, ни наказывать оскорбителя. Но что же можно сделать в таком случае? То же, что должен сделать человек, когда его постигло какое-либо иное несчастье, а именно - покинуть родину, поселиться за пределами ее, где его никто не знает, и уповать на суд божий, помня, что его могла бы постигнуть та же самая кара, если бы его наказали за одно из тех оскорблений, которое он нанес другим, ибо желать, чтобы те, кому он нанес оскорбление, молча их выносили, а чтобы сам он не сносил никакой обиды, является несправедливостью. Я говорю: сносить их, а не убивать жестоко за то, что тебя лишили чести, которая есть не что иное, как суэта мирская, и не отлучать от бога того, кого он разлучил с душой.

Так или иначе, после этого происшествия прошло два года, и Лисардо, немного успокоенный, - ибо время обладает могучей силой, - в жаркие летние дни стал выходить из своего дома, чтобы искупаться в реке. Марсело, все время следивший за ним, проведая об этом и однажды ночью, сбросив с себя одежду, подплыл к тому месту, где купался Лисардо. Он с такой силой схватил его за ногу, что тот испугался и, захлебнувшись, лишился сознания; а на следующее утро его, к большому огорчению всего города, нашли на берегу реки. Это и была благоразумная месть, если только какая-нибудь месть может так называться, и рассказана она не в поучение оскорбленным, а в назидание оскорбителям. Из нее видно, насколько справедливо изречение, гласящее, что оскорбленные пишут на мраморе, а оскорбители на воде. Так Марсело два года хранил в своем сердце оскорбление, твердое, как мрамор, а действия Лисардо, безусловно, были HP писаны на воде, вследствие чего он и погиб от воды.

ГУСМАН СМЕЛЫЙ

Если вашей милости угодно, чтобы я стал вашим новеллистом, раз уж мне не суждено быть вашим кавалером, совершенно необходимо, чтобы вы смилостивились надо мной и чтобы ваша признательность меня вдохновила. Цицерон устанавливает различие между щедростью бескорыстной и вознаграждаемой {1}. Благостно рвение, когда оно бескорыстно; будучи вознагражденным - оно уже вынужденно. Но если я не расположен подкупать моего благодетеля, то, с другой стороны, и от полагающегося мне по праву я не желал бы отказываться; а было бы несправедливо, если бы ваша милость вознаградила меня, предоставив доброй воле богов, как поступил Эней с Дидоной, объявив:

Коль небо справедливым воздаяньем
Смиранные заслуги отличает,
То от него ты вправе ждать награды {2},

Таково было мнение философа, несомненно желавшего быть вознагражденным, и потому римский сатирик {3} сказал:

Кто любил бы добродетель,
Не сули она наград?

И хотя выигрывает не тот, кто получает, а тот, кто дает, мне, ваша милость, представляется, что у нас с вами получается совсем как у того кабальеро с крестьянином, о которых рассказывает Федр {4} (ваша милость, вероятно, не изволили даже слышать имя этого искусного перелагателя басен Эзопа). Так вот, он рассказывает, что однажды крестьянин нес зайца, попавшего в силок (так называется западня, зажимающая лапки зверька). Ему повстречался кабальеро, который, должно быть, ради собственного удовольствия выехал покататься в поле на прекрасной лошади. Он спросил крестьянина, не продаст ли тот зайца. Получив утвердительный ответ, он выразил желание хорошенько его рассмотреть, а затем спросил, сколько хотел бы за него получить крестьянин. Последний прикинул зайца на вес и назвал цену, но едва он передал зайца всаднику, как тот пришпорил коня и ускакал, унося с собой добычу. Одураченный крестьянин, стремясь превратить нужду в добродетель, а кражу в подарок, крикнул ему вслед: "Эй, сеньор, я вам дарю этого зайца! Кушайте его себе на здоровье, кушайте со спокойной совестью! Помните, что я вам отдал его добровольно, как своему лучшему другу!"

Но это я рассказал просто так, потому что к слову пришлось, и мне не было никакой надобности выискивать поучительные примеры, приводимые доном Диего Роселем де Фуэнльяна, кабальеро, именовавшимся в испанских владениях прапорщиком и напечатавшим в Неаполе книгу "Примеров" {5}, без которой не может обходиться ни один ипохондрик.

Итак, посвящая вам мои новеллы, я рискую оказаться в положении упомянутого крестьянина, а потому мне кажется, что лучше всего начать эту новеллу заявлением: "Примите ее, ваша милость, я даю вам ее добровольно - хотя положение мое отличается от положения крестьянина тем, что, когда его вздумали обмануть, он об этом и не подозревал, тогда как я, зная, что меня ждет, все же позволяю себя обманывать".

В одном из городов Испании, название которого нам с вами безразлично, с юных лет учился дон Феликс, происходивший из благороднейшего дома Гусманов и ни разу не запятнавший своими поступками славу древнего рода. Испанские авторы до сих пор ведут споры по поводу этого имени: одни стремятся найти корни его в Германии, другие же непременно хотят доказать его готское происхождение, производя его от имени Гундемар. На левой половине герба этого дома изображены по серебряному полю три горноста, а на правой - по золотому - лазурные котлы. Как бы то ни было, Гусманы с незапамятных времен были грандами, и среди них встречались люди смелые и благородные. Такими, например, были Педро Руис де Гусман, живший в XII веке, и дон Алонсо Перес де Гусман {6}, родоначальник дома герцогов Медина-Сидония, названный в надгробном камне удачливым, а также многие другие мужи, достойные вечной памяти, как, скажем, дон Педро де Гусман - сын герцога дона Хуана I, и граф Оливарес, служивший императору Карлу и совершивший много смелых подвигов. Но со всеми названными мог бы смело сравниться по своей доблести, если не по положению в обществе, юноша, о котором мы рассказываем. Как я уже говорил, герой наш учился, - да простит мне ваша милость это отступление, приняв во внимание, что я многим обязан названному благороднейшему дому, - в том самом городе, где начинается моя новелла. Достоинства этого юного кабальеро были таковы, что студенты - будь то наши соотечественники, будь то иностранцы - полюбили его до такой степени, что готовы были отдать за него жизнь, и, общаясь с ним, забывали тоску по родному дому. Днем он вел себя столь благообразно, что трудно было узнать в нем человека, который по ночам устрашал жителей города дерзостью своих выходок, а потому многие считали, что у него есть двойник, совершенно не понимая, как может в одном человеке совмещаться гибкий разум Меркурия с воинственной отвагой Марса. Стоило ему днем замолвить слово за какого-нибудь просителя, как должность, о которой он ходатайствовал, уже была ему

обещана; и хотя его ночные бдения частенько заканчивались схваткой, он всегда выходил победителем, хотя, случалось, дело было не из пустяковых, ибо когда врожденной смелости помогает удача, то тут не смогут устоять никакие враги и преграды. Должен признаться, что бесстрашие и отвага мне представляются щитом чести; что же касается сочинителей всевозможных писулек, позорящих чужую славу, то я считаю, что у них трусливые души и бабьи руки.

По доброй ли воле или побуждаемый к тому своими увлечениями, которые вели его по иному пути, но дон Феликс забросил занятия науками. И здесь ни при чем звезды, ибо господь сотворил звезды для человека, а не человека для звезд. И я должен сказать вашей милости, что дон Феликс покинул свою родину не без причины.

Нередко по ночам ему случалось сопровождать своего друга Леонело, молодого кабальеро, которому одна дама - довольно знатного происхождения, но недостаточно благородного поведения - оказывала приют в своем доме. Узнав, что дон Феликс столько ночей напролет простаивает на часах у ее дома, она, уже наслышанная о его славе, прониклась состраданием к его бдениям, и, поскольку женщины этого сорта с жадностью заглядываются на то, что находится на улице, пренебрегая тем, что имеется в их собственном доме, она стала просить Леонело облегчить лишения дон Феликса, так как, во-первых, невежливо заставлять страдать друга, пока развлекаешься сам, а во-вторых, ее доброму имени способен причинить больше вреда один мужчина на улице, чем двое мужчин в ее доме. Эти доводы настолько теперь хорошо усвоены, что уже не заметишь мужчину в дверях или, что еще чудеснее, в окне дома, как это бывало раньше. Так оно, без сомнения, надежнее и, может быть, более пристойно, ибо добрая слава женщины больше страдает от привязанной у дверей лошади, чем от хозяина ее, гостящего в доме. Ведь недаром говорится: лучше лакей спящий, чем сосед глядящий; бывают же такие соседи, которые готовы не спать всю ночь, чтобы только поглядеть на то, о чем они и без того знают, да еще с таким интересом, словно они отродясь этого не видели.

Как-то один кабальеро завел обыкновение беседовать по ночам со своей дамой, а была она из тех, которые, как бы им самим того ни хотелось, никогда не открывают дверей, - и стала на них глазеть соседка, жившая через улицу; получилось так, что они не могли больше беседовать, а она - спать. Тогда кабальеро решил носить с собой пращу для метания камешков и, спрятавшись за углом, стал их метать наудачу, хотя желание его попасть в цель было столь сильно, что этому не мог воспрепятствовать даже ночной мрак. Тогда любопытная соседка, рассудив, что этак она, пожалуй, рискует окриветь но в то же время не в силах побороть в себе желание узнать, о чем говорят влюбленные, и подсмотреть как они себя ведут, надела на голову кастрюлю и в

таким виде высунулась наружу. Камешки стали попадать в кастрюлю, производя такой грохот, что он перебудил всех соседей, и любовникам волей-неволей пришлось разлучиться.

Фелисии нетрудно было добиться того, чтобы дон Феликс получил приглашение войти в ее дом, так как и сам Леонело очень сочувствовал тем лишениям, которые по его вине переносил дон Феликс, и признавал суровость обязанностей, возложенных им на друга.

Дон Феликс поднялся в дом, чтобы поздороваться с хозяйкой. На нем было то самое платье, в котором он стоял на часах: буйволовая куртка поверх льняного колета, суконные плащ и штаны, чулки с подвязками жемчужного цвета, широкополая шляпа без всяких украшений, щит на ремне и в руке шпага. Дон Феликс был смугл и черноволос, и в нем было больше привлекательности, чем красоты; черные усы, изящная фигура при высоком росте и прежде всего скромность и вежливость украшали его. Впрочем, он был одет не по требованиям современной моды: ему недоставало стоячего воротника, который удачно прозвали ошейником, - ужасное одеяние несчастных испанцев.

Не успел дон Феликс проговорить с Фелисией и двух минут, как она почувствовала, что была бы счастливейшей женщиной, если бы ей удалось покорить его сердце. И вот она начала каждую ночь строить ему глазки, но, разумеется, тайком от Леонело, который уже заметил, что они фамильярничают друг с другом. Это слово, сеньора Марсия, итальянского происхождения; уж не гневайтесь на это: многие держатся того мнения, что к нашему языку отлично прививаются разные диковатые словечки, сбежавшие из своих языков, будь то греческого, латинского, французского или даже гарамантского {7}, и нашедшие себе приют в нашем. Так-то и получилось, что язык наш уподобился дому посланника, где всякий стремится говорить вычурно, а обычная речь кажется низменной и пошлой.

После долгих колебаний и сомнений Фелисия написала Гусману следующее письмо:

"Похоже, что ваша милость притворяется, будто не понимает меня. А я-то воображала, что заслужила вашу благосклонность! Между тем вы с каждым днем обращаете на меня все меньше внимания, - должно быть, поближе присмотревшись ко мне, вы обнаружили во мне какие-то нравственные или телесные изъяны. Невзирая на это, я умоляю вас, как истинного кабальеро, быть милостивым к женщине, которую вы сами толкнули на столь безрассудное признание, если только можно назвать безрассудством проявление могучей силы любви".

Дона Феликса чрезвычайно удивила эта записка Фелисии, ибо, хотя он и замечал знаки ее внимания, намного превышавшие требования гостеприимства, он никогда не предполагал, чтобы она была способна на такие сумасбродные поступки. И вот как он ей ответил:

"Звание кабальеро говорит мне о том, что я должен уважать друзей, и по этой причине я не могу быть с вами более любезным, нежели это подобает. Поэтому я вынужден прекратить мои посещения вашего дома. Но сделаю это я не сразу, а постепенно, чтобы мой друг не узнал о том, что произошло между нами, и чтобы я сохранил возможность по-прежнему сопровождать его, на случай если ему будет угрожать какая-нибудь опасность".

Фелисия не сумела принять этот отказ должным образом, ибо ей не пришли на память слова старой Дипсы, поучающей в восьмой элегии Овидиевой "Науки любви" искусству держать себя с влюбленными:

Будь жестока; пусть он сильней страдает,
Не то твои любовные признанья
Любовь его ослабят.

Презрение, на которое неожиданно натолкнулась Фелисия, еще сильнее разогрело ее страсть; решив, что все случившееся было лишь первой стычкой, и зная, что многого можно добиться с помощью упорства, она написала Гусману следующее:

"Во времена странствующих рыцарей, сеньор дон Феликс, такое благородство поведения никого бы не удивило, но в наш век самый лживый человек слывет самым чистосердечным, а самый вероломный - самым желанным. Предоставьте вашу верность Амадису Галльскому, ибо ваш друг, не зная о ней, не сможет отблагодарить вас за нее, да и я не очень-то буду признательна. Здравый смысл говорит, что вы должны стать моим, так как я разлюбила Леонело и никогда больше не смогу его полюбить, - из чего, однако, вовсе не следует, что я должна зараз потерять вас обоих".

Дона Феликса чрезвычайно огорчило столь очевидное безрассудство, и он, решив было вовсе не отвечать Фелисии, все же, чтобы она больше ему не писала, подумав, написал ей так:

"Всегда бывало в этом мире, сеньора Фелисия, и всегда так будет, что кабальеро руководствуются в своих действиях одним только определенным

законом. Когда же здравый смысл предписывает им быть лживыми, а вероломство входит в привычку, то их можно назвать лишь незаконными детьми благородства. Но тому, кто впитал его в себя с молоком матери, неизвестны иные законы, кроме законов чести, меж тем как тот, кто предаёт своих друзей, не имеет о ней ни малейшего представления".

Этими, как и другими письмами в том же роде, были рассеяны вздорные надежды этой глупейшей сеньоры: ведь только мужчинам пристало быть настойчивыми в любви, тогда как женщины не должны подражать им в ухаживанье и подстрекать их нежностью своих слов к совершению низких поступков. Но замечательно одно свойство любви, отличающее ее от всех других вещей, гибнущих, чтобы возродиться вновь; а свойство это заключается в том, что в любви шаг, следующий за последним, превращает ее в ненависть. И вот в Фелисии вспыхнула жгучая ненависть к дону Феликсу.

Видя, что она уже не разговаривает с ним, как обычно, и не смотрит на него ласково, Леонело стал подозревать, что они оба что-то от него скрывают. Охваченный жестокой ревностью, он стал требовать от Фелисии, чтобы она открыла ему всю правду. И тогда она, воспользовавшись удачным моментом, намекнула ему на то, что дон Феликс страстно добивался ее благосклонности, и показала его письма, которые сразу же после этого уничтожила. Обманутому юноше было достаточно взглянуть на почерк, чтобы узнать руку друга; и, сетуя на его вероломство (можно подумать, что оно очень уж редкое явление, хотя это совсем не так, и умным людям надлежит прежде всего остерегаться своих друзей), Леонело решил потребовать удовлетворения, чем, впрочем, доставил величайшую радость Фелисии, страстно желавшей, чтобы они оба погибли.

В этот город приехал из другой страны молодой кабальеро, по имени Фабрисио, и Леонело завязал с ним дружбу, постепенно отдаляясь от той, которая связывала его с доном Феликсом. Последний это заметил: ведь на лице человека сразу же можно прочесть то, что происходит в его сердце; а так как они долгое время дружили, то утаить что-нибудь друг от друга для них было почти невозможно. Это нужно иметь в виду, поскольку лицо, - хоть оно и расположено далеко от сердца, - не всегда сохраняет одно и то же выражение, а поэтому ему не следует доверять. Итак, Леонело стал дурно отзываться о доне Феликсе. Упаси нас боже от вражды друзей! А так как всегда находятся люди, своего рода погонщики слов, перегоняющие их с одного места на другое и почитающие за лучшее проявление дружбы передачу неприятных известий, то эта новость скоро достигла ушей дона Феликса, который написал ему такое письмо (но если ваша милость найдет, что всяких писем здесь многовато для одной новеллы, она может свободно их пропустить):

"После того как ваша милость стала относиться ко мне заметно холоднее, я подумал, что это случилось не без причин; и так как вы мне о ней ничего не сказали, то я счел себя забытым вашей милостью. Но я обманулся в своих ожиданиях, ибо мне говорят, что вы вспоминаете обо мне всюду, где бы вы ни находились, и с меньшим доброжелательством, чем я того заслуживаю. Я бы вас очень попросил объяснить мне, в чем тут дело, в противном же случае возлагаю всю вину за эту неблагодарность на вас".

Леонело, всегда готовый вспыхнуть, как сухая щепка, ответил так:

"Мое поведение вполне оправдано, ибо нет между друзьями большего преступления, чем вероломство. Я сделаю то, что вы советуете мне, и не буду вспоминать о том, кто отплатил за мою любовь тем, что сунулся со своей туда, куда вам известно".

Пораженный дон Феликс мог оправдать поведение Леонело только тем, что Фелисия взвела на него какое-нибудь ложное обвинение - постоянная хитрость женщин; и, не найдя иного пути, чтобы наказать обманщицу, он попросил одного их общего друга раскрыть Леонело все ее козни, но Леонело ответил на это:

"Скажите дону Феликсу, что я видел его письма и узнал почерк".

Дон Феликс, обычно весьма сдержанный, в превеликом негодовании направился прямо к Фелисии, и гнев настолько охватил его, что он не заметил Леонело, с которым почти столкнулся у порога ее дома. Он ворвался в гостиную Фелисии, которая радостно поднялась ему навстречу, протягивая руки. Но Леонело шел за ним следом, а войдя, спрятался за занавеской.

- Я не для этого пришел! - воскликнул сердито дон Феликс.

- А для чего же? - спросила Фелисия и, не дав ему сказать ни слова, обвила его руками и осыпала тысячью всяких нежностей.

Леонело обезумел от всего того, что увидел, и, не разобравшись в поведении дон Феликса, вскочил в комнату со шпагой в руке.

- Вот как наказывают предателей! - вскричал он.

Дон Феликс быстро обернулся и, так как бывают случаи, когда стремление объясниться может быть понято за трусость, тоже выхватил шпагу; встав в позицию, он нанес Леонело удар в грудь, от которого тот упал замертво. Как полагается в таких случаях, поднялся крик, явилась полиция и составили протокол; а Фелисия тем временем укрылась в монастыре. Но разрешите мне,

ваша милость оставить этого мертвеца в покое и отправиться странствовать по свету вслед за Гусманом, который уже начал становиться смелым.

В это время турецкий султан Селим {8} со своими пашами, славившимися по всей Европе отвагой, решил захватить остров Кипр {9}. Начальником его флота был назначен Мустафа, который сломил сопротивление защитников острова, нанеся им ужасные потери. В этом деле погибли Николо Дандило, Джулио Романо и Бернардино. После этого Мустафа вступил в Фамагусту {10}, а Пиал_и_ -паша вернулся с флотом в Константинополь. Вслед за тем Очали вышел из Негропонта {11} и взял тысячу пленных в Корфу, на Кандии {12} и в Петимо и не меньшее количество на островах Занте и Кефалонии. Затем, поддержанный с суши турецкой армией, осадил город Катаро {13}. Город этот, принадлежавший Венецианской республике, отважно защищал венецианец Маттео Бембо. Христианский мир был потрясен дерзостью Селима, победы которого я не собираюсь перечислять, так как это не входит в мои задачи.

Все христиане решили, соединив свои силы, обрушиться на этого варвара. В союзе приняли участие славной памяти святейший римский папый, отец всей церкви Пий V, король Испании Филипп II и осторожный венецианский сенат. Главнокомандующим этой святой лиги был назначен благороднейший юноша, честь и слава нашей нации, сеньор дон Хуан Австрийский {14}, которому всегда помогало мужество и завидовала судьба. Принц-герой ваял с собой на это ответственное дело нашего дона Феликса по приказу майордома Педро Гусмана, отца великого дона Энрике, посла в Риме и вице-короля Филиппа II в Сицилии и Неаполе, - Педро Гусмана из рода герцогов Оливаресов, которым я за многое глубоко признателен, вследствие чего меня радует, что хоть в этой новелле я могу упомянуть о них, ибо они - дед и отец того, кто сегодня так счастливо венчает и награждает оружие и литературу {15}:

Nee nos ambitio, nec nos amor urget habendi {*}.

{* Ни тщеславие, ни стяжательство нас не побуждают (лат.) {16}.}

Надеюсь, что ваша милость мне уже простила строку стихов, приведенную выше. Знайте же, что дон Феликс принял участие как солдат в знаменитой морской битве {17}, так подробно описанной многими историками и воспетой поэтами, что мне незачем рассказывать вам о ней, а вам - слушать. Впрочем, в этом случае я мог бы отослать вас к божественному Эррере {18}, который подробно ее описывает стихами и прозой. Но лучше всего отыщите описание ее в одной из моих комедий, где ход сражения понять значительно проще. В этой баталии, как говорят и как должно выражаться на нашем языке, дон Феликс проделывал такие чудеса своей шпагой и щитом, что за ним с тех пор

утвердилось прозвище Смелый. Он захватил одну галеру и получил двадцать две раны от стрел и ятаганов; и тем, кто его в этот день видел, он внушал ужас, ибо, покрытый стрелами, он казался ежом, а изрезанный ятаганами, он был похож на быка, когда его, обессиленного, но еще не добитого, уволакивают с арены. Дона Феликса стали лечить, и он чудом остался жив. И мне вспоминается при этом то место у Лукана, где он замечательно описывает подвиги Кассия Сцева {19} (очевидцем которых был император Юлий Цезарь, упоминающий о них в третьей книге "Гражданской войны"), принесшего с поля боя щит, пробитый в двухстах тридцати местах. А Юлий Цезарь - человек, заслуживающий доверия уже потому, что он был повелителем Рима, а значит, и всего мира. Все же мы не скажем о доне Феликсе того, что говорит Лукан о Сцева:

О, как ты счастлив именем столь славным.
Ты, в бегство обращающий тевтонов,
Иберов и кантабров,

ибо он поднял оружие против врагов церкви и родины, возгордившихся после стольких побед, опьяненных кровавыми грабежами и насилиями в мирных водах Архипелага {20}, а не во время гражданских войн. Светлейшему дону Хуану Австрийскому воздвигли достойные его статуи за эту победу, после которой ненависть всей Азии склонилась к его ногам. Одна из этих статуй находится в Сицилии, но, конечно, заслужить бессмертие в истории, где его имя никогда не померкнет, - дело еще более великое, ибо бронза и мрамор поддаются влиянию времени, чего нельзя сказать о славе людской доблести.

Итак, дон Феликс выздоровел и под именем Феликса Смелого некоторое время жил в Неаполе, пользуясь уважением со стороны самых высокопоставленных лиц; после этого он отправился во Фландрию, где с не меньшей славой продолжил свои подвиги. Там он, случалось, дрался по очереди на различных видах оружия; из всех этих поединков он вышел победителем, заслужив рукоплескания представителей разных народов, взиравших на подвиги, совершенные им как на поле битвы, так и в других местах. Между прочим, по примеру прославленного юноши Чавеса де Вильяльбы, победившего на публичном поединке в Риме силача-немца и отстаившего честь Фердинанда Католика перед другими государями, дон Феликс вызвал на дуэль одного Фламандского капитана. Тот предложил дону Феликсу самому избрать род оружия. Тогда дон Феликс велел изготовить огромные палицы весом в четыре арробы {21}, которые противник едва мог поднять, но дон Феликс фехтовал ими необычайно ловко и поэтому заслужил почет и уважение всей

армии. Вашей милости известно, что я вас всегда прошу - там, где вам кажется, что я отступаю от истины, убавлять и прибавлять то, что вы найдете нужным. Следует принять во внимание и то обстоятельство, что, хотя вышеуказанное оружие и очень тяжелое, читателю все же не придется таскать его самому. К тому же я не утверждаю, что эта история действительно имела место в жизни; это лишь собрание вполне возможных обстоятельств, хоть меня и заверяли в точности всех приводимых здесь фактов. Как сказал один старинный испанский поэт {22}:

Умолчать не премини
Про геройство,
Ибо людям это свойство
Не сродни.

Правда, я сообщаю их с дрожью неуверенности в голосе, но сила нашего кабальеро была столь велика, что ни в чем из содеянного им вы смело можете не сомневаться. Вам, конечно, известен Херонимо де Айанса {23} - испанский Геркулес, алебарда которого до сих пор хранится в прихожей дома маркиза де Приего в Монтилье. Острием этой алебарды он буквально все превращал в салат; недаром говорится в сонете на его смерть {24}:

Не вздумай, смерть, с ним дерзкий бой
затеять,
Иль алебардой, как салат, искрошит
Он и тебя с твоей косой.

В наши дни девятнадцатилетний Сото тащит на себе и на ходу останавливает повозку с грузом в четыре арробы; одна дама как-то сказала о нем:

Что только натворит он, возмужав!

В Валенсии, на празднествах, сопровождавших бракосочетание короля Филиппа Третьего (да хранит его господь!), я видел одного крестьянина, которого затем граф Лемос увез с собой в Неаполь; человек этот отличался необычайной силой: он поставил колонну какой-то старинной арки, привязал ее к своей спине с помощью пенькового каната и, напрягшись всем телом, приподнял эту колонну на три пальца. Я очень боюсь солгать, и, может быть, поэтому такая незначительная подробность заставила меня привести столько примеров. Заметьте, ваша милость, что сама природа любит иной раз проявлять таким образом свои возможности, хотя и делает это довольно редко. Ну,

скажите, пожалуйста, не является ли прекрасная женщина большим чудом, нежели сильный мужчина? Ибо сильнейший может одолеть лишь одного мужчину, тогда как красота побеждает всех, кто на нее взирает. Обширный ум, охватывающий все тайны природы, спасает жизнь человека, находящегося в опасности, борется с болезнями, постигает высокие материи, дает правила наукам и законы государствам, - словом, делает все то, на что, неспособна простая человеческая сила. Вот почему Лукиан аллегорически изображает Геркулеса в левой руке держащим лук, а в правой - дубину и с канатом во рту, на котором он влечет взятых им в плен людей; этим Лукиан {25} намекает на то, что Геркулес этих людей победил не силой и не оружием, а словом:

Оружье уступает тоге, ибо
Внять долгу красноречье принуждает
Грубейшие сердца.

Гусман Смелый беззаботно провел во Фландрии несколько лет, и, когда пришло время уезжать оттуда, один солдат, его приятель, рекомендовал ему своего пажу, по имени, Мендоса. Он был из тех, кого обычно называют фертами: плащ, украшенный лентами, широкополая шляпа, лихо заломленная и надетая набекрень, с бляхой и перьями, в меру болтливый, подвижный и скорый на ответ. Вышеназванный солдат отправлялся в Германию с письмами к герцогу Клевскому, стоявшему лагерем под Дюреном {26} - городом, прославившимся тем, что Карл Пятый подверг его обстрелу из сорока пушек, иначе говоря, получившему известность по причине постигшего его несчастья. Солдат этот не мог взять с собой в длинный, тяжелый путь через горы, поросшие лесом, между Рейном и Руром {27}, юного пажу, звавшегося Мендосой. В этих местах, богатых всякой живностью (там водятся даже дикие лошади), герцог развлекался роскошной охотой и наслаждался прохладой прелестных ручейков и плодами деревьев, столь обильными в этих местах. Паж не особенно горевал, расставаясь со своим прежним хозяином, потому ли, что он надеялся скоро его увидеть, или потому, что юноша рад был случаю перейти на службу к столь прославленному господину; надо полагать, что он и сам обладал столь же воинственным нравом. Дону Феликсу представился случай поехать на Мальту, где он рассчитывал быть посвященным в рыцари этого ордена. Он не хотел брать с собой Мендосу, но отделаться от пажу оказалось делом весьма нелегким, ибо тот со слезами упрашивал взять его с собой, подкрепляя мольбы свои тем, что, служа испанцу, он будто бы меньше испытывает тоску по родному дому. Дон Феликс успел уже привыкнуть к нему, так как паж, помимо прочих достоинств, обладал неплохим голосом и играл на гитаре. Они сели

вместе с другими путниками на корабль, направлявшийся на Мальту через Ливийское море. Там судно попало в сильную бурю, и они несколько дней плавали по воле ветра и волн, ибо им не удалось пристать к Пенъону де Велес {28}, к которому отнесли их грозные валы. Впрочем, это были уже христианские земли, отвоеванные у мавров Гомеры доном Гарсией Толедским, которого Филипп Второй назначил начальником небольшой эскадры, предназначенной для подавления корсаров. Несмотря на старания моряков и путешественников, им помогавших, как это обычно бывает в минуту опасности, судно никак не смогло пристать к берегу - столь велика была ярость волн, разбивавшихся о прибрежные скалы и превращавшихся в пену. Моряки поэтому попытались укрыться за скалой Полифема, выдававшейся далеко в море. Ночью всем казалось, что они пойдут ко дну, - настолько ужасны были волны и ветер, достигшие наивысшей силы. Гром, дождь и молнии яростно обрушивались на судно, и плывущим временами казалось, что они проваливаются в бездну меж двух океанов, хотя в действительности было то, что происходит с двумя ядами, взаимно уничтожающими друг друга.

Наконец на рассвете они увидели небо и землю, а когда, рискуя жизнью, пристали к берегам Берберии, то были взяты в плен маврами и увезены в Тунис. Обращенные в рабство, дон Феликс и Мендоса быстро нашли себе хозяина. Дон Феликс попросил пажа не называть его настоящего имени, так как оно, без сомнения, было в этих краях известно, а потому плен его слишком затянулся бы или вообще никогда бы не кончился. Им посчастливилось, так как их купил некий еврей, по имени Давид, знавший кастильский язык и имевший в Испании родственников. Он неплохо обращался со своими новыми рабами, ибо надеялся таким образом получить за них более значительный выкуп, полагая, что, если они дадут о себе знать в Испанию, родные обязательно их выручат. Дон Феликс вел себя весьма осмотрительно и остерегался показывать свою силу, считая, что если он будет узан, то либо за него назначат огромный выкуп, либо долго еще продержат в плену. У Давида была дочь, прекрасная, как солнце (вот уж нестерпимый испанизм, хотя он до крайности принят у наших рассказчиков! Судите сами: если бы девушка действительно была похожа на солнце, чьи глаза могли бы на нее смотреть? Ваша милость, без сомнения, знает, что сравниваемый предмет не должен быть вполне подобен тому, с чем его сопоставляют, и потому, конечно, принимает, как должное, выражения: "белая, как снег", "знатный, как король", "мудрее, чем Соломон", "поэт, более прекрасный, чем Гомер"). Скажем просто, что она была необычайно красива и весьма неглупа. Ее звали Сусанна, но только именем своим, а не скромностью она походила на библейскую Сусанну {29}, ибо она сразу же остановила свой взор на... - Я уже слышу, как ваша милость хочет досказать: на доне Феликсе; но

вот вы и ошиблись, потому что Мендосика {30} был красивее, и, услышав, как он вполголоса напевал в саду, она отдала ему свою душу. Таким-то образом госпожа стала рабой своего пленника, что, однако, нисколько не печалило донна Феликса, потому что эта любовь приносила им обоим некоторые выгоды: когда Давид уезжал по торговым делам в Триполи или Бизерту, они становились полновластными хозяевами дома. Сусанна обычно отправлялась со своими рабами в сад. Она не остерегалась донна Феликса, потому что пленники сказали ей, что они братья. Достав лютню, Сусанна попросила Мендосу спеть, и тот начал так:

Как наказана Филица!
Фабио она терзала,
А теперь к нему в деревню
С гор спустилась с пастухами.

Видя, как она любима,
И в былом презренье каясь,
Им она твердит, что силой
Вырвано у ней согласие.

Но в душе она довольна,
Хоть не хочет сразу сдаться,
Ибо ожиданье цену
Придает желаньям нашим.

Бегством Фабио ревнивый
От нее спастись пытался,
Но любовь - недуг, который
Превращает в яд лекарство.

О несчастный! То же средство,
Что других лечило часто,
Фабио не исцелило,
А, напротив, убивает.

Но Филица покорилась
И приходит на свиданье
С радостной душою, ибо
Тот, кто любит, мстить не станет.

Принаряжена пастушка,
Хоть нарядов ей не надо,
Ибо даже скорбь не в силах
Помешать ей быть прекрасной.

Пояс бархатный зеленый
Стан Филиды облегает.
Юбки в вязи позументов
Чуть приподняты руками.

Чтобы Фабио не понял.
Что он дорог ей, как раньше,
Ею не надет сегодня
Ни один его подарок.

Выбрав те, что он не видел,
Украшения и платья,
Хочет намекнуть пастушка,
Что играть с огнем опасно.

Лента алая с девизом
Косы ей перевивает:
Ведь всегда нужны уловки
Той, кто вызвать ревность жаждет.

Заменяет ей мантилью,
До очей ее скрывая
От нескромных взоров встречных,
Черный плащ, узором тканый.

Башмачки ее так узки
И так малы, что не знаешь,
Как в таком пространстве может
Столько прелести скрываться.

Вот пришла она в деревню,
К Фабио стучится храбро.
Как в горах высоких солнце,
Пастухи ее встречают.

Им она спешит ответить
Дружеским рукопожатьем;
Им, купаясь в море взглядов,
Жемчуга улыбок дарит.

Только Фабио увидел,
Что она вошла, как сразу
Радость дух его омыла.
Слезы взор его застлали.

И безмолвно просят оба
Не словами, а глазами:
У него она - прощенья,
Он у ней - любви и ласки.

Но, взглянув в лицо друг друга
На мгновенье и украдкой,
Взгляд они спешат потупить,
Словно их терзает зависть.

Наконец слова потоком
С уст коралловых сорвались,
И виновная немедля
Обвинительницей стала.

Фабио твердит Филида,
Что внушать любовь не вправе
Тот, чьи дерзостные речи
Малодушье прикрывают.

Фабио же, уязвленный,
Отвечает в оправданье,
Что любовью безнадежной
В нем убита вся отвага.

Наша Сусанна была чрезвычайно довольна искусством Мендосы и, когда он кончил петь этот романс, спросила дону Феликса, любит ли он музыку. Вместо него ответил Мендоса, заявив, что иногда они поют вместе. Сусанна захотела послушать их, и они исполнили такой диалог (один как бы спрашивал, а другой отвечал):

"Паскуаль, прошу вас дать
Мне любви определенье". -
"Это то, что лишь мученья
Нам способно доставлять". -
"Но, скажите, отчего
Вся любовь - одна кручина?" -
"Неизвестна мне причина,
Следствие же - таково". -
"Паскуаль, я жажду знать,
В чем искусство наслажденья". -
"В том, чтоб сладость упоенья
Горькой болью завершать". -
"Больше добрых слов от вас
Слышать я хочу о страсти". -
"Больше боли и несчастий,
Чем отрады в ней для нас". -
"Что мне дать и что отнять
Может у меня влеченье?" -
"За блаженное мгновенье
Годы вы должны страдать". -
"Сильвия мне взгляд дарит
И спешит со мной расстаться". -
"Раз глядит - чего бояться?
Бойтесь, если не глядит". -
"Вправе ли влюбленный ждать
За любовь вознагражденья?" -
"Не поддаваться вожделенью
Значит - после не рыдать".

Самое приятное в этом музыкальном жанре - гармония двух все время чередующихся голосов. Таково было мнение, впрочем, и Сусанны, которая все вечера, когда отца не было дома, проводила в развлечениях подобного рода. Проходя однажды мимо ее комнаты, Мендоса застал ее еще лежащую в постели. Ее пышные волосы, длинные и вьющиеся, не слишком при этом темные, были небрежно разбросаны по плечам, а черные глаза, окаймленные густыми бровями и ресницами, казались двумя солнцами, окруженными густою тенью. Сусанна не употребляла румян, а потому ее плоть цвела красками свежести и здоровья, которые подарил ей сон. Розоватый перламутр ее тела

постепенно переходил в снежную белизну лица, а дивные ямочки щек состязались в цвете с алой гвоздикою губ, которые, приоткрываясь в улыбке, обнажали ленточку ослепительно-белых жемчужин. На ней была тафтяная сорочка соломенного цвета, отделанная черной с золотом бахромой и с такими широкими рукавами, что, поднимая руки, она небрежно открывала их почти до плеч. Мендоса хотел удалиться не боязни показаться нескромным, но Сусанна позвала его, и он робко подошел к двери.

- Войди, - сказала она, - и скажи мне, о чем ты мечтаешь; ах, если бы обо мне... Но увы, ты не любишь меня.

- Госпожа, - отвечал Мендоса, - кого же я должен любить сильнее, чем тебя? Ведь я твой раб, а ты обращаешься со мной так, как если бы я был твоим господином.

Ты же стоишь любви каждого, кто имеет хоть каплю разума.

- Я твоя раба, Мендоса, - отвечала Сусанна. - Не сомневайся в этом, ибо любовь столь могущественна, что изменяет сословия и сокрушает империи, чья гибель, таким образом, зависит порой от случая, а не от естественного хода вещей. Искренне говорю тебе, меня очень печалит и прямо-таки приводит в отчаяние, что твоя вера не позволяет мне выйти за тебя замуж. Из всего того, что я узнала в Испании, откуда я приехала ребенком, я поняла ложность нашей веры, поняла наше заблуждение, и я тебя полюбила с самого первого взгляда. И раз мое несчастье привело меня в то состояние, в каком ты меня сейчас видишь, а твое чувство ко мне достигло той степени, что склонило твой разум к ногам моих желаний, я решила сделать тебя владыкою всего, что мне принадлежит, но так, чтобы брат твой не знал о моей безумной страсти. И это вовсе не потому, чтобы я не желала бы ему довериться, тем более что он уже знает, до какой степени ты мне нравишься, а просто потому, что мне будет совестно, если он узнает, до какого бесстыдства я дошла, ибо тогда он будет презирать меня. Вы, мужчины, уж так устроены, что, достигнув цели своих желаний, начинаете презирать самую прекрасную женщину. Ведь вы считаете, что, утратив то преимущество, которое дает нам целомудрие, мы становимся вашими рабынями и что тогда вы уже можете по отношению к нам позволить и своим рукам, и своему языку любую дерзость.

Мендоса смотрел на нее, не зная, что сказать, ибо есть такие слова, на которые ответом могут быть только действия. Они понизили голос и уговорились встретиться ночью, когда в доме все улягутся. Мендоса сошел во двор, где дон Феликс чистил скребницей берберийского коня, на котором Давид иногда ездил в Тунис. Он сел напротив дон Феликса и стал следить за его работой. Дон Феликс спросил его:

- Что с тобою? Ты как будто чем-то взволнован и даже покраснел от

смущения!

Мендоса хотел что-то ответить, но вместо этого, опустив глаза, горько заплакал; от сильного волнения слезы ручьем полились у него по щекам.

- Ну, для этого должна быть важная причина, - сказал дон Феликс и, отбросив свой презренный инструмент, подошел к юноше, взял его за подбородок и отвел от лица спутавшиеся волосы.

- Пропал я, сеньор дон Феликс! - заговорил Мендоса. - Наши злоключения достигли своего предела! Сусанна объяснилась мне в любви и хочет сегодня же ночью, когда все в доме заснует, поговорить еще подробнее со мной наедине. И я очень боюсь, как бы это не привело к моей и вашей гибели, если обо всем узнает ее отец.

- Ну и дурачок же ты! - ответил дон Феликс. - Напугал меня так, что у меня на минуту зарябило в глазах. Но сейчас, когда я успокоился, мне просто смешна твоя глупость. Конечно, лучше всего было бы тебе не уступать этой женщине и умереть. Но так как мы пленники, то еще более жестокая смерть ждет нас в том случае, если ты не сдержишь данного ей слова. Я, по крайней мере, именно из-за того, что не ответил взаимностью одной женщине, оказался теперь пленником, вдали от моего дома и моей родины, и питаю весьма слабую надежду на освобождение, если только узнают, кто я такой: поэтому я должен таиться от каждого пленного испанца, который мне встретится на пути, из страха, что он меня узнает. Вот по этой-то причине мне и приходится непрерывно трепетать за нашу жизнь. Учти, что эта женщина - еврейка и что, наверное, она вспомнит историю Иосифа Прекрасного {31}, если ты вздумаешь подражать ему. Мало того, что ты сделал ужасную ошибку, позволив ей думать, что разделяешь ее желания, ты еще обострил их сейчас, когда она тебе объяснилась, тем, что подал надежду на их осуществление, - и когда она увидит, что обманулась в своих надеждах, любовь ее перейдет в ненависть и она набросится на нас обоих, как змея.

Мендоса снова заплакал, по-прежнему ничего не отвечая, и дон Феликс стал требовать объяснения этого молчания, причина которого начала казаться ему загадочной. Ведь только в культистской поэзии {32} речь иной раз идет о слезах, для которых нет никакого видимого основания.

Уступая просьбам и, можно сказать, даже угрозам дон Феликса, Мендоса сказал:

- Я поражена, что ты до сих пор не узнаешь меня, дон Феликс! Как ты можешь желать, чтобы я выполнила обещание, данное мною этой женщине, если я - Фелисия, та самая несчастная женщина, из-за которой ты убил Леонело. После многих злоключений, постигших меня после его смерти, я поступила на службу к известному тебе солдату и последовала за ним в Италию, а оттуда во

Фландрию, где и перешла от него к тебе, когда он отправился в герцогство Клевское.

Некоторое время дон Феликс, пораженный, стоял молча, не в силах вымолвить ни слова, а потом сказал:

- Пусть не удивляет тебя то, что я тебя не узнал, Фелисия; ибо, хоть я и бывал в твоём доме, я почти не видел твоего лица: так мало я всматриваюсь в лица возлюбленных моих приятелей.

О, слова, достойные быть высеченными на мраморе золотыми буквами, дабы скотское невежество некоторых людей уразумело, как неотделима от дружбы честь, от благородной крови - выполнение долга! Ибо есть люди, которым их пустота не позволяет отличить честные поступки от подлых и похоть - от истинной любви, вследствие чего происходит столько раздоров, а иной раз проливается немало крови. Сдается мне, что вашей милости не по вкусу подобные проповеди и вы желаете узнать, как же придумали поступить дон Феликс и Фелисия, дабы избежать неприятностей, угрожавших им.

После долгого обсуждения они порешили, что, когда настанет час любовного свидания, дон Феликс поднимет ложную тревогу, будто по чьей-то небрежности вспыхнул пожар где-нибудь в отдаленной части дома. В возникшем переполохе трудно будет думать о выполнении подобных обещаний и придется отложить свидание, а дальше надобно будет изобрести что-нибудь другое. Так они и сделали. Не успела Сусанна заключить Фелисию в свои объятия, как дон Феликс, поджегший находившийся на задворках сарай, принялся громко кричать о том, что начался пожар. Сусанна покинула объятия Фелисии и, высунувшись в окно, принялась сзывать на помощь слуг. В этом, впрочем, не было необходимости, так как не только обитатели того дома, где они жили, уже всполошились, но и все соседи успели проснуться и сбежаться, стараясь помочь беде.

Но если пламя пожара и было вскоре погашено, то пламя любви от всего случившегося еще сильнее разгорелось в груди грешной еврейки. Она продолжала искать случая встретиться с Мендосой наедине, между тем как тот столь же старательно его избегал. Так прошло три или четыре дня - срок, который любви не так-то легко выдержать, после чего приехал Давид, отец ее, и все сразу притихло, даже любовные желания Сусанны. Но известно, что судьба, если уж она начала преследовать человека, становится назойливее мухи, которая липнет именно там, откуда сильнее всего ее гонят. Припомните, что сказал о ней Овидий {33}:

Бредет судьба неверными шагами,
Но, переменчивая и слепая,

Нигде не может долго задержаться.

Случилось однажды, что, когда дон Феликс возвращался вместе с Давидом, своим хозяином, с базара, им повстречался какой-то грубый, заносчивый и бесстыдный мавр, притязавший на высокий чин и звание в их подлой и лживой секте, как об этом свидетельствовал зеленый тюрбан на его голове. О" презрительно приказал Давиду отнести к нему домой большую корзину купленных им фиников. Тот нерешительно посмотрел на дону Феликса, и пленник, забыв, что ему надлежит притворяться немощным, легко поднял корзину и поставил себе на плечо. Ахмет Абенис - так звали мавра - пнул его ногой и, толкнув с силой корзину, свалил ее на землю, несколько повредив ее при этом, ибо она была сплетена из нежных пальмовых ветвей. Обозлившись от этого еще больше, он закричал:

- Христианин, взвали корзину на этого еврея!

- Эфенди, - ответил дон Феликс (на тамошнем языке это слово значит "господин", или "хозяин", или "повелитель"), - позвольте мне отнести корзину туда, куда вы прикажете, потому что Давид стар и слаб здоровьем.

- Собака христианин! - вскричал Ахмет. - Клянусь Магометом, я тебе выбью зубы, а его уложу на месте!

- Успокойтесь, эфенди, - ответил снова дон Феликс.

Заметьте, ваша милость, что я повторяю этот титул второй раз не потому, чтобы мне нравилось говорить по-арабски, а просто потому, что трудно избежать в данном случае этих слов, ибо я стремлюсь к правдивому воспроизведению действительности, как и полагается хорошему рассказчику.

Ахмет рассердился, вырвал палку у проходящего мимо мавра и ударил ею Давида так, что тот упал. Считая, что этот еврей был его хозяином, чей хлеб он каждый день ел, не видя от него обиды ни словом, ни делом, дон Феликс вырвал палку у мавра, собиравшегося нанести старику второй удар который мог бы его совсем убить, и ударил негодя, по своему обычаю, так, что тот на несколько часов лишился речи. На шум сбегалось множество мавров, ибо подобной смелости они еще никогда не видели. Но дон Феликс, не пожелав подражать им и прибегнуть к камням или палкам, с которыми они на него обрушились, одними оплеухами и затрещинами защитил себя лучше, чем это могли бы сделать шестнадцать хорошо вооруженных человек. Тот, кого он хватал за шиворот и отбрасывал от себя на большое расстояние, падал и расшибался; а тому, кто получал от него оплеуху, кровь заливала лицо, лишая на некоторое время зрения.

Но прежде чем продолжать рассказ, я хочу спросить у вашей милости, знакомой с Цицероном, Овидием и прочими мудрецами, у вас, способной

беседовать о дефинициях и этимологиях, откуда произошло в кастильском языке слово "оплеуха". Мне, по крайней мере никогда не презиравшему мой родной язык, пришлось немало потрудиться, прежде чем я выяснил происхождение этого слова, которое люди ученые определяют так: "запечатление руки, сжатой в кулак, на лице противника в состоянии раздражительности". Так знайте же, ваша милость, что слово это употребляется не без достаточных для того оснований, ибо тот, кто собирался нанести удар, сначала плевал себе на ладонь руки, а потом уже наносил удар, откуда и произошло слово "оплеуха", что значит - "удар, нанесенный оплеванной рукой". Этого вы не вычитаете в "Сокровищнице кастильского языка" {34}, из чего следует, что должно уважать чистоту этого языка, ибо, конечно, не без причины он отвергает столь низменные слова. Как бы то ни было, дон Феликс - которого в доме его хозяина все время называли Родриго - в своей ярости так отделал многих мавров, что они решили застрелить его из мушкета. Один из телохранителей царя зарядил мушкет и выстрелил, но угодил при этом в своего собственного товарища, который в тот самый момент подбежал к дону Феликсу. И вот собралась большая толпа, вооруженная различными видами оружия (в расчете на то, что если не с одним из них, так с другим посчастливится), и, уж наверное, тут пришел бы конец его жизни, если бы он не отступил к дверям мечети, откуда как раз в эту минуту выходил Саларраэс, тамошний царь или наместник, назначенный турецким султаном, - совсем так, как у нас назначают вице-королей или, как встарь, в Испании, Мирамамолин Мароккский или же Альмансор Кордовский назначали своих наместников в Алькале, Хаэне, Эсихе, Мурсии и в других областях, захваченных после вторжения арабов в древнюю землю готов. И так как царь заметил необычайную силу и крайнюю отвагу этого раба, он повелел не посягать более на его жизнь, и все сразу же повиновались. Затем царь приказал привести дона Феликса во дворец и, когда они остались наедине, велел ему рассказать, кто он такой, и при этом помнить, что государям надо всегда говорить правду; при этом царь обещал оказать ему покровительство и сохранить жизнь, подобно тому как только что ему ее даровал.

На все это дон Феликс отвечал:

- Государь, я кабальеро из дома Гусманов в Испании, хотя здесь, опасаясь, что за меня назначат слишком большой выкуп, я сказал моему хозяину, что меня зовут Родриго и что я человек низкого звания, занимающий у себя на родине самое скромное положение, подобающее простолюдину. Но сейчас я говорю вам сущую правду, полагаясь на ваше царское слово, и добавлю еще, что мое настоящее имя - дон Феликс де Гусман и что после морской битвы при Лепанто меня прозвали Смелым. Скажу, что в этом сражении я захватил султанскую

галеру, на которой капитаном был Адамир-паша, воин не настолько прославленный, как среди вас - Учал_и_ или Барбаросса, но еще более смелый и опытный. Я попал в плен в Ливийском море, направляясь на Мальту, так как вместо Пенъон де Белеса нас занесло в Тунисский залив. Меня и моего брата купил еврей Давид, и его хорошее обращение с нами и хлеб, который я ел у него в доме, побудили меня встать на его защиту. Ахмет мог ударами палки убить старика, если бы я не преградил путь его бешенству и этим не спас хозяину жизнь. Расспроси почтенных мавров, которые все это видели, и если окажется, что я говорю неправду, то в Тунисе есть крепостные стены, а твои солдаты вооружены алебардами, которых никакая человеческая сила не одолеет.

- Так ты, - сказал царь, - тот самый Гусман Смелый, человек великой силы, не боящийся ни диких зверей, ни разъяренных быков? Ну, сейчас ты увидишь, как много ты выиграл, сказав мне всю правду и доверившись моему слову, ибо ты пришелся мне по сердцу: я восхищаюсь твоими подвигами и не могу допустить, чтобы эти мавры причинили тебе какой-либо вред и ты не получил свободы, которой, без сомнения, заслуживаешь, если только сам не предпочтешь остаться со мною здесь, где ты будешь располагать моей верной дружбой с правом либо принять нашу веру, либо сохранить свою, так как принуждения в таких делах не должно быть, а все должно делаться добровольно. А сейчас разреши уж мне выказать наружно по отношению к тебе гнев, потому что эти разобиженные тобою мавры могут, чего доброго, пожаловаться Великому Султану, если я оставлю тебя на свободе.

И он приказал отвести дону Феликса в один из подвалов, где содержались каторжники. Давид, оповещенный о случившемся, не стал скупиться на деньги - эту лучшую опору узников - и все время пересылал их с Мендосой, сновавшим между домом и тюрьмой, относившим пищу дону Феликсу и проводившим с ним все свободное от работы время, к великому неудовольствию Сусанны, которая не могла дождаться ближайшей ярмарки, чтобы в отсутствие отца удовлетворить свои любовные вожделения.

Дон Феликс был крайне благодарен за все заботы о нем Фелисии, которая, с того дня как призналась в том, кто она, стремилась гораздо более завоевать его сердце, чем к тому, чтобы ответить взаимностью Сусанне, и я думаю, что ваша милость легко этому поверит.

Так как мавры требовали выдачи им дона Феликса, царь вызвал к себе Давида, дал ему две тысячи цехинов и сказал:

- Подкупи этими деньгами тех, кто жалуется на этого раба, и доставь его ко мне, а я не оставлю тебя своей милостью и буду твоим защитником, пока я в Тунисе.

Давид так и сделал, и мавры приняли деньги весьма охотно, потому что они

боялись, как бы диван (а у них это примерно то же самое, что у нас судейская коллегия) не оказался весьма расположен к еврею, - тем более что в их судопроизводстве - как ни говори, варварском - не существует ни прокуроров, ни докладчиков, ни адвокатов, ни протоколистов, а все сводится к показаниям свидетелей и применению законов: виновного казнят, а невиновного выпускают на свободу - и делу конец.

Но вернемся к нашей истории. Саларраэс, тунисский царь, пошел с доном Феликсом в сад, и там между ними произошел следующий разговор:

- Выслушай меня, христианин, именуемый кабальеро Гусман, по прозвищу Смелый! У шейха одного из кочевых арабских племен, живущего в шатрах, есть дочь, прекраснейшая из женщин, родившихся в Африке. Ее руки добиваются двое - царь долины Ботойя, что находится близ Мелильи, и я, и мы оба служим ей верно и преданно. Ее отец хорошо понимает, что, выдав дочь за одного из нас, он в лице другого приобретет заклятого врага, а потому не хочет ни одному отдать предпочтение, предлагая нам решить спор между собой, поскольку он не может ее разрезать на две части. Вопрос этот настолько трудный, что даже христианский наместник Орана вынужден был вмешаться, чтобы водворить мир, да и губернатору Мелильи {35} приходилось не раз обсуждать его.

Мы никак не можем договориться, потому что я теряю рассудок от любви к Лейле Фатиме, и думается мне, что с Зулемом происходит то же самое. Шесть дней назад он прислал мне вот это письмо (при этом Саларраэс вытащил лист бумаги), в котором вызывает меня на поединок - пятеро против пятерых, на копьях и ятаганах, со щитами и, конечно, согласно нашему обычаю, верхом. Он обязуется, если будет побежден, отказаться от всяких притязаний на девушку с тем, что если побежденным окажусь я, то и мне придется поступить так же. Я уже подобрал себе четырех помощников из числа мавров; но теперь, хотя я и вполне доволен ими, мне пришло в голову, что если я тебя переодену (а ты ведь жил все время уединенно и почти никто здесь тебя не видел), то противники тебя не узнают, да к тому же ты достаточно усвоил наш язык. Одно только меня смущает: хорошо ли ты владеешь названными видами оружия.

- Они мне знакомы, - ответил дон Феликс, - и, для того чтобы ты в этом убедился, давай выедем завтра утром в поле, и я покажу, как я умею орудовать копьем и щитом, нападая, отступая, бурно налетая и обманывая врага, как умею выхватить ятаган, подставлять щит, выбивать его у противника и пускать в ход всякие другие приемы.

- Нет, не надо ничего такого показывать - мне вполне достаточно твоих слов.

Дон Феликс ответил:

- Попробуй согнуть мою руку, взявшись за нее двумя своими.

Мавр попытался, но согнуть руку дона Феликса было так же трудно, как

согнуть мраморный столб.

Через несколько дней, держа это дело в тайне, царь предложил дону Феликсу надеть фиолетовую куртку, а поверх нее отделанную золотом кольчугу, принадлежавшую раньше отцу Саларраэса и состоявшую из такого количества мелких петель, что они едва были различимы. Кольчуга сверкала так, что казалась серебряной. Из-под кольчуги, застегнутой лишь до половины груди и подпоясанной красным кушаком, была видна куртка и кружево обшлагов: у штанов из фиолетовой парчи, отделанных жемчугом, были золотые застежки; на голове чалма, надетая на стальной шлем, окрашенная валенсийским кармином и украшенная белыми и лиловыми перьями, на которую пошло шесть локтей тончайшего бенгальского сукна; на ногах - сапожки из марокканской кожи и на них - серебряные с позолотой и чернью шпоры; ятаган, похожий на молодой месяц, покоился в португее, столь плотно расшитой бисером, что не было видно материи, которую он унизывал.

Мне кажется, ваша милость, что, читая, вы спрашиваете себя, из какого же романа взят этот мавр? {36} Но вы не правы, потому что мавры, воспетые в романах, жили в Мадриде или Гранаде, а этот жил в самом сердце Туниса. Заканчивая описание его наряда, можно сказать, что вооружен был он копьем длиной в двадцать пять локтей (на сей раз верьте мне, уж я не преувеличиваю) и щитом лилового цвета с арабской буквой "Ф" посередине, которая отнюдь не означала - "Франциска", а соответствовала начальной букве имени "Фатима". Все кто мне рассказывал об этом, говорили примерно то, что я изложил выше; и хотя никто мне не сообщал, что лошади были тоже фиолетовые или голубые, очень возможно, что рассказчики умолчали об этом только из ревности. Тут я не могу удержаться, чтобы не привести того, что писал некий кабальеро одному сеньору, посылая ему к празднику двух лошадей: "Итак, я посылаю вам лошадей, но очень вас прошу обращаться с ними так, как вы желали бы, чтобы обращались с вами, если бы вы были лошадью".

Наконец под призывные звуки рожков они выехали, пятеро против пятерых, на поле боя. Царь Ботойи и все его секунданты были одеты в ярко-красные одежды с золотой отделкой; и так как прозвучал призыв рожков, а не каких-либо других инструментов, то все происходящее весьма походило на праздничный турнир. Битва началась, и сначала были пущены в ход копья и щиты. Не буду вам описывать удары, наносимые ими, так как ваша милость, несомненно, видела кабальеро из Орана, выступавшего в цирке во время боя быков: хотя он и вышел уже из возраста, наиболее подходящего для такого рода упражнений, он проделывал их столь легко, что ему мог бы позавидовать любой юноша. Секунданты царя Ботойи убили Тарифе, Беломара и Зорайде, и теперь сражались лишь тунисский царь и дон Феликс, на которого на село сразу

четверо, ибо Зулема и Саларраэс вели бой в отдалении. Первых двух, налетевших на него, - кажется, их звали Шариф и Селим, - дон Феликс выбил из седла ударами копыта, а еще под одним был убит конь. Мавры бросились бежать, и дон Феликс погнался за ними, но один из них, обернувшись, на всем скаку метнул копьё, пронзившее грудь коня смелого испанца. Лошадь упала замертво на землю, окрашивая ее своею кровью. Балоро и дон Феликс поневоле спешили, схватившись друг с другом, а Мухаммеда лошадь понесла сквозь гущу деревьев, так как дон Феликс обрубил ее поводья; однако, проносясь мимо того места, где бились эти двое, Мухаммед с удивительной ловкостью спрыгнул с коня и бросился к ним. Балоро был бербером, сыном негритянки и турка; страшный на вид, он был очень силен, жилист и проворен. Он ловко отражал кожаным щитом удары и ловко действовал ятаганом, точно он был легче перышка, а не весил четырнадцать фунтов. Я нашел у Лукана {37} в начале книги седьмой, где описываются войны лагерей Помпея и Цезаря, такой стих:

Орудуют отважные испанцы
Щитами кожаными так искусно...

Я рассказываю об этом вашей милости для того, чтобы вы знали, что в Испании с древнейших времен употребляются кожаные щиты, перенятые у африканских народов, где они применялись издавна, как об этом можно прочесть у Ливия.

Появление Мухаммеда несколько не помогло Балоро - до того сокрушительны были удары дон Феликса. Саларраэс, заметив, что его испанец бьется, спешившись, зараз с двумя маврами, то ли из-за расположения к нему, то ли испугавшись, что, если его убьют, ему самому придется иметь дело сразу с тремя противниками, что лишало его всякой надежды на победу, повернул коня и поскакал на выручку к своему бойцу. Но дон Феликс обернулся и крикнул по-арабски:

- Тунисский царь, кончай с Зулемом, а эти двое считай, что уже готовы.

Царь повернул коня навстречу тяжелораненому Зулеме, который еще гнался за ним, но уже начал слабеть. Доблестный Гусман, вспомнив свое прозвище Смелый, собрал все свои силы и, словно на него смотрела вей Испания в образе дамы за решеткой балкона; принялся наносить маврам смертоносные удары. Мухаммеда, не успевшего прикрыться щитом, он хватил ятаганом так, что раскроил юноше голову до самых плеч, и, как под ударами дровосека в горах Куэнки падает высокая сосна, тот упал на землю, раскинув руки.

Оставшись один, Балоро решил отомстить за смерть своих трех товарищей и, полагаясь на свою физическую силу, подскочил к дону Феликсу и схватился с

ним врукопашную, уверенный в том, что во всем мире не найдется равного ему силача. Но он жестоко ошибся: дон Феликс повторил описанный Софоклом подвиг Геркулеса {38}, поднявшего сына Земли на воздух; но только, когда дон Феликс опускал своего врага на землю, то стукнул его так, что из того чуть не дух вон. Не успел Балоро отдышаться, как дон Феликс уже выхватил ятаган и, искромсав судорожно извивающегося у его ног варвара, оставил его так, как оставляют для обозрения на залитой кровью арене свирепого быка. Затем он бросился на помощь к царю с таким пылом и стремительностью, словно битва еще не начиналась.

Когда Зулема увидел у ног своих четыре окровавленных трупа, он закричал, что сдается. Саларраэс, хоть и был варваром, все же, из уважения к его царскому сану, даровал ему жизнь, ограничившись тем, что отобрал у него ятаган и щит. Дон Феликс подобрал разбросанное возле трупов оружие, поправил сбрую на лошади Мухаммеда и, стремя в стремя с царем, нагруженный этими трофеями, вернулся в город, где никто ничего не знал о сражении и где поэтому их прибытие вызвало чрезвычайное удивление, словно раскаленное поле битвы было амфитеатром римского цирка. Фелисия хватилась дона Феликса, начала его искать, а когда увидела, то не было конца возгласам восхищения и радости, слезам и объятиям.

Саларраэс сулил дону Феликсу великие награды и выгоды, если только он согласится остаться у него на службе. Но, зная о горячем желании дона Феликса вернуться на родину, царь удовольствовался тем, что задержал его до дня своего бракосочетания с прекрасной Фатимой. На свадебных торжествах дон Феликс выделялся благородными манерами, и все взирали на него, как на чудо природы. Никто не метал дротики в цель с такой ловкостью, никто не мог показать такой силы рук.

Когда договорились о его освобождении и когда наступил час отъезда, царь щедро одарил его алмазами, жемчугами, серебряными и золотыми изделиями. Сусанна горько оплакивала отъезд Мендосы, уезжавшего вместе с доном Феликсом в Испанию. Но при прощании Мендоса по секрету сказав ей, что он - женщина, и это во мгновение ока излечило ее несчастную любовь, словно произошло некое чудо. Давид также поднес дону Феликсу, как спасителю своей жизни, богатые дары - парчу, шелк и драгоценности. Сусанна подарила Фелисии нитку чистых, крупных и ровных жемчужин, стоившую семьсот эскудо. Все провожали их, беспрестанно обнимая и проливая слезы.

Они вышли в море, покинув город, прославленный Миципсой {39}, который заселил его греками, - хотя теперь в нем насчитывается вряд ли более восьми тысяч очагов, - а ведь, если верить истории, этот город был когда-то столицей древней Нубии, находившейся между Ливией и Атлантидой, там, где

возвышался заслуживший вечную славу Карфаген и где разыгралась трагедия Софонисбы {40}. Путешественники плыли на этот раз более счастливо и вскоре смогли приветствовать берега Испании.

Несколько дней они провели в Картахене, откуда дон Феликс отправил письмо своим родственникам. Уже в Мурсии он получил ответ, где его извещали, что старший брат его скончался, не оставив наследников. Там же Мендоса переменял платье и снова стал Фелисией. Дон Феликс отвез ее в одно из эстремадурских селений, откуда был родом его отец, и там выдал замуж за бедного, но родовитого дворянина, выделив ей в качестве приданого шесть тысяч дукатов. Дон Феликс представил Фелисию как свою кузину, чему указанный дворянин легко поверил, так как ходили слухи о ее высоком происхождении.

Чувствую я, ваша милость, что вы сильно сомневаетесь в любви Фелисии и равнодушии к ней Гусмана Смелого. Ведь она делила с ним тяготы плена в мавританских землях, подвергая себя лишениям, делила одиночество и была его утешением, а потому, скажете вы, было бы неблагодарностью пренебречь ее любовью. Клянусь вашей милости, что я и сам плохо понимаю, как это могло случиться, и могу лишь заметить, что пребывание в плену нередко соединяло животных различных видов, порождая между ними нежную привязанность, и что человек никогда не должен полагаться на себя, в подтверждение чего можно привести многочисленные примеры. Данте описывает любовь деверя и невестки, не решавшихся признаться друг другу в своем чувстве, ибо грех кровосмешения чрезвычайно тяжок {41}, а брат его, муж Франчески, был владетельным князем. Но влюбленные целые дни бывали вместе, и однажды случилось им проводить время, читая историю о любви Ланселота, Рыцаря Озера, и королевы Джиневры, как это рассказано в "Аде" самой несчастной дамой:

Мы предавались на досуге чтенью
Романа о влюбленном Ланселоте,
Любовью воспылав, мы объяснились {42}.

А Петрарка вспоминает о них в главе III "Триумфа любви":

Любовники из Римини, что плачут,
Друг друга сжав в объятье безнадежном,

потому что брат, который убил их, был владыкой Римини.

На родине дона Феликса встретили очень хорошо, так как он вернулся туда, куда так долго стремилось его сердце, богатым, цветущим и изящным

кабальеро. Он привлек внимание жителей города, и в первую очередь - тех, кто нуждался в его милостях, ибо со всеми был щедр и великодушен. Когда весть о каком-либо нуждающемся доходила до него, никто не уходил из его дома, не получив утешения. Он помогал бедным, стоял за правду, восстанавливал мир, и не было ни одного человека, который, по какой бы то ни было причине отказал ему в своем уважении. Все студенты настолько почитали дона Феликса, что подвиги его беспрестанно восхвалялись в латинских и кастильских стихах. Восхищение им доходило до того, что, когда он шел на народное празднество, народ кричал: "Да здравствует дон Феликс!", а тот, кто не присоединял к этим возгласам своего голоса, считался завистником, сколь бы почетное положение он ни занимал.

Дон Феликс был опаснейшим турнирным бойцом, и не было человека, способного с ним померяться силами. Иногда он надевал на себя такие тяжелые доспехи, что их не могли поднять два человека; а он, упав во время боя на землю, поднимался на ноги необычайно легким прыжком. Он выбирал самых диких жеребцов, на каких никто не решался сесть, а он вспрыгивал на них и сразу их укрощал, подчиняя своей воле силой одних шенкелей; кони перед ним дрожали, покрывались холодным потом, падали на колени и в конце концов смирялись. Он умел ловко и изящно жонглировать двумя шпагами и двумя палицами. Подобная сила и ловкость сочетались в нем с умением изящно писать и говорить,

Беспечный и не подвластный силе и козням любви, уверенный, что уж на родине-то ему ничто не грозит, он, столь сильный от рождения, проповедовавший свободу, сдался ребенку, но ребенку столь древнему, что он, пожалуй, лишь на два часа моложе вечности.

Как хорошо изобразил Альциат могущество этого ребенка {43}: он побеждает львов и смиряет молнии!

В сиянии победном
Любовь смиряет самых
Суровых и упрямых.

Изабелла, сестра отважного кабальеро по имени Леонардо, одного из самых знатных жителей города, а может быть, и всей Испании, была прелестнейшей дамой. Дон Феликс, весьма тщательно скрывая свою любовь и владея своими чувствами, честно завоевал расположение дамы и намеревался закрепить его браком, а пока что довольствовался лишь красноречивыми взглядами да еще тем, что иногда, подобно поклонникам других дам, проживавших на той же улице, устраивал в ее честь серенады. И однажды музыканты спели так

(думается мне, что ваша милость устала слушать бесконечную прозу и не прочь сделать передышку, прочитав стихи):

Здесь, меж лугов цветущих,
Где Мансанарес летний {41}
Очей моих слезами
Опять наполнен щедро;

Здесь, в тишине безлюдной,
Где на мое томленье
Лишь соловьи порою
Ответят грустной трелью;

Здесь, меж стволов иссохших
И почернелых веток,
Где и весной не в силах
Уже воскреснуть зелень

И где лишь древо скорби,
Лишь кипарис, как прежде,
Растет, со мной в печали
Соперничая тщетно, -

Прекрасная Филида,
Тоскую по тебе я:
Ведь чем от цели дальше,
Тем нам она любезней.

Я говорю: "О море,
Быть может, ты заметишь
Следы моей пастушки
На отмелях прибрежных,

Вблизи которых много
Кораллов разноцветных,
Что славной Барселоне
Дают доход несметный.

Тогда в грозу и бурю,
Когда швыряет пену

В лицо далеким звездам
Высокомерный ветер,

Ты ей скажи: "Филида,
Порой грожу я смертью
Тем, кто к отчизне дальней
Плывет по горькой бездне;

Но тот смельчак, что в гавань
Твоих объятий рвется,
Пойдет ко дну в пучине
Печали беспредельной".

О море, даже вздыбив
Валы, как горы снега,
Чтоб туч они коснулись
И через миг исчезли,

Ты не превысишь горы
Ревнивых подозрений,
Которые Филида
Мне заронила в сердце.

О море, оросить мне
Позволь слезами берег,
Чтоб ты волной смело их
И превратило в жемчуг.

Едва ли кто, Филида,
Из пастухов, чьи песни
Над Тахо раздаются,
Предугадать сумел бы,

Что до границ испанских,
До самого побережья
Твоим следам вдогонку
Мои домчатся пени.

Ужели ты забыла,
Как здесь, под сенью леса,

Я омывал когда-то
Слезами лик твой нежный,

И мне они, сливаясь
С твоей слезой ответной,
Порой казались чище,
Чем слезы звезд небесных!

Здесь я с тобой простился
И здесь кончину встречу
Затем, что жив я только,
Пока с тобой мы вместе.

Спеши, моя Филида!
Я на пороге смерти,
Которая страдальцам
Дарует утешенье".

Обратив внимание на эти концерты, хотя то, что на них пелось, и было написано не для данного случая, а относилось к турнирам и празднествам, Леонардо заключил, что дон Феликс ухаживает за его сестрой или, как теперь принято говорить, ведет себя с нею галантно, - ведь всякое время приносит с собою свои новенькие словечки. Леонардо весьма расстроился, ибо был чрезвычайно осторожным, достойным кабальеро, и, не желая ссориться с особой столь уважаемой, как дон Феликс, поместил Изабеллу, весьма этим огорченную, в монастырь. Однако дон Феликс в ответ на эти хлопоты донна Леонардо начал действовать так, как если бы рука Изабеллы была ему уже обещана, и Изабелла, связанная обязательством, хоть и не давала к этому повода, согласилась стать женой донна Феликса. Договорившись об этом через посредство лиц благородного происхождения, она покинула монастырь, и они вступили в брак. Леонардо особенно этому не противился, прежде всего потому, что дон Феликс известен был своей знатностью, а кроме того, еще потому, что, будучи человеком разумным, признал, что нельзя препятствовать супружеству двух людей, которые любят друг друга, ибо сказано: "Кого бог соединил, человек да не разлучит" {45}.

Слава донна Феликса среди горожан и студентов достигла тем временем такой степени, что его всюду встречали приветственными кликами. Но некоторые кабальеро этого города, побуждаемые завистью, сговорились его убить, и хотя паж одного из них предупредил донна Феликса о грозящей ему опасности, он не пожелал принять никаких мер предосторожности и не стал скрываться.

Заговорщики нанесли ему свыше сорока ран, и слуги принесли его к жене в таком состоянии, что Изабелла не надеялась, что он останется в живых.

Здесь будет уместно рассказать о происшествии, случившемся с неким знатным итальянцем, читавшим однажды вечером "Амадиса Галльского" {46}. Когда он дошел до того места, где герой, под именем Вальтенебрес, изображен лежащим на скале в пустынной местности под названием Пенья-Побре, то, не обращая внимания на множество слуг, смотревших на него с удивлением, он начал рыдать и, ударив кулаком по книге, воскликнул: "Maledetta sia la donna que tal te ha fatto passare!" {Да будет проклята дама, заставившая тебя вытерпеть такое! (Итал.).}

Прошу вас, не отчаивайтесь, ваша милость, ибо дон Феликс уже выздоравливает; мужество не вытекло вместе с кровью из его ран, сила духа его удержала в теле жизнь. Другой на его месте, без сомнения, умер бы; он, однако, выжил, на удивление самой природе.

Когда дон Феликс выздоровел, он велел поставить на площади шатер, увешанный всякими девизами, и встал на рассвете у его входа, приказав в качестве вызова трубить в трубы и бить в барабаны. На доне Феликсе были белые с золотом доспехи, яркий плюмаж соломенно-желтого и белого цветов, расшитые золотом и серебром чулки, белые сапоги, на плече копье, в левой руке шпага; и со щита свешивалось объявление с вызовом на поединок, прикрепленное к дощечке, поддерживаемой тремя шнурками золотого, желтого и белого цветов. Вид дон Феликса внушал ужас. Поднятое забрало открывало гневно сверкавшие глаза и черные усы - словно траур по тем жизням, которым он угрожал.

Так простоял он на месте целую неделю, и ни один кабальеро не вышел в поле, или, как говорили древние, на ристалище. По истечении этого времени его слуга, конный и в полном вооружении, коснулся щита, на котором висел вызов. Дон Феликс вышел из шатра и проскакал вместе с этим слугою расстояние, равное броскам трех копий, после чего так ударил своим копьём в землю, что она задрожала, а копье разлетелось на кусочки. Затем он направился домой, и все население города проводило его шумными и восторженными кликами. Прошло несколько дней, и завистники, которые и тут нашлись, - хотя, казалось бы, истинная доблесть не должна порождать зависти, - довели все случившееся до сведения короля, обвинив дон Феликса в том, что он будто бы хотел взбунтовать этот город. Произвели, как водится, следствие, и так как у зависти никогда не бывает недостатка в лжесвидетелях, то их не замедлили и на этот раз найти. Дон Феликс был приговорен к обезглавливанию на эшафоте и для этой цели был доставлен в столицу.

Весть об этом дошла до достойнейшего кабальеро, светлейшего сеньора

дона Луиса Энрикеса де Кабреры, адмирала Кастилии, герцога Медина и графа Модика (деда того самого, который сейчас является главой этого славного дома), достойного и щедрого вельможи. Он прочитал записку дона Хауна Австрийского, в которой подтверждался вышеописанный подвиг, совершенный доном Феликсом при захвате турецкой галеры, и, посетив его в тюрьме, проникся к нему уважением настолько, что стал ходатайствовать перед его величеством о сохранении ему жизни.

Король, также весьма благосклонный к дону Феликсу за проявленное им мужество и понимавший, что в жизни трудно не нажить врагов, помиловал дона Феликса, но при этом запретил ему возвращаться в родной город.

Дон Феликс поселился в своем имении поблизости от этого города, но впоследствии все тот же названный нами сеньор, который счел такую помощь подобающей своему высокому положению, добился для дона Феликса разрешения жить у себя на родине, где я и познакомился с ним. Он был уже в преклонном возрасте, но по-прежнему проявлял все ту же доблесть, потому что телесные изъяны не умаляют величия души.

Вот вам, сеньора Марсия, история Гусмана Смелого. Если же вы находите, что в ней недостаточно любовных приключений и слишком много сражений, то могу вам посоветовать прочитать "Пастуха Галатеи" {47} - роман, в котором можно найти все, что только есть по части любви, этой царицы человеческих чувств, с которой может сравниться лишь ревность - незаконное дитя наших страстей, плод недоверия и душевной тоски, ярость оружия и тревога словесности {48}. Но об этом мы поведем речь уже не здесь, а в книге под названием "Лавр Аполлона" {49}, которая последует за этой.

Эспинела {50}

Величают ныне барды,
Чтоб богов не свергли с неба,
Гонгорой и Борхой Феба,
А Венеру Леонардой.
Гера сделалась Гальярдой,
Переименован Пан
В Марио, Амур-тиран -
В Сильвио, а у Паллады
С Марсом спор - кого же надо
Звать из них двоих Гусман.

Не удивляйтесь тому, что это стихотворение, обычно называемое "десимой",

я озаглавил "эспинела"; такое название дано в честь маэстро Эспинеля, изобретателя этой поэтической формы. Точно так же некоторые строфы называют сапфическими в честь Сапфо {51}.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. Смирнов

Лопе де Вега как новеллист

В гигантском литературном наследии великого испанского писателя Лопе де Беги (около тысячи пьес, двенадцать поэм, множество разнообразнейших стихотворных и прозаических произведений) четыре его новеллы занимают весьма скромное место. Они мало привлекают внимание исследователей и обычно рассматриваются скорее как биографический факт, чем как литературное явление.

Действительно, условия, при которых они возникли, весьма своеобразны.

Лопе было пятьдесят три года, когда, в 1616 г. на одном поэтическом состязании в Мадриде он познакомился с Мартой де Неварес Сантойно. Он был прославленным драматургом, приближенным герцога де Сесса, священником и слугою святейшей инквизиции. Марте было около двадцати лет, и она была женою крупного мясоторговца. Лопе пылко влюбился, и молодая красавица, увлеченная открывшимся ей миром культуры и поэзии, откликнулась на его чувство. Вскоре благодаря влиянию Лопе в административных сферах Марте удается добиться развода по суду.

Марта стала для Лопе "десятой музой", по выражению писателя, и он ее прославлял в стихах и в прозе под целым рядом псевдонимов - Марсия, Леонарда, Амариллис и т. д. В 1618 или в начале 1619 г. Лопе посвящает ей написанную им ранее и переделанную для нее комедию "Валенсианская вдова", приблизив к характеру Марты образ главной героини. В 1621 г. он посвящает ей другую комедию - "Женщины без мужчин", шуточное изображение города амазонок, завоеванного объединенными усилиями Геркулеса, Тесея. Ясона и Тиндарея. Мы сейчас лишены возможности установить, связано ли и здесь посвящение пьесы с намеком на какую-либо черточку в характере Марты или же дело сводится к выполнению заказа любительницы галантной мифологии. Характер остальных произведений, связанных с личностью Марты, также колеблется между выполнением заказа и панегириком; в число их входит и несколько чудесных сонетов к Амариллис, напоминающих своей

восторженностью сонеты Петрарки.

После четырнадцати лет безоблачного счастья Марта Неварес внезапно ослепла. Стараниями врачей удалось отчасти вернуть ей зрение, но тогда несчастную постигла новая беда - она лишилась рассудка. Благодаря заботливому уходу Марта начала оправляться и от нового недуга, но в конце 1632 г, она, по не вполне ясной причине, умерла, оплаканная Лопе в трогательной элегии "Амариллис" (два пастуха рассказывают историю этой любви). Надо думать, что смерть Марты ускорила кончину и самого Лопе, сошедшего в могилу в 1635 г.

Из всех посвященных Марте де Неварес произведений, созданных Лопе, теснее всех других связаны с ее личностью четыре новеллы. Они были написаны по ее настойчивой просьбе: первая - "Приключения Дианы" - издана в 1621 г., остальные три - в 1624.

Новелла в век позднего Возрождения была в Испании мало развита: Испания не имела своего Боккаччо, как не имела она хотя бы и своей Маргариты Наваррской. Родина новеллы - Италия, страна по всему ходу своего развития глубоко демократическая, что и обусловило раннюю победу в ней реалистического восприятия жизни и того синтеза гуманистической культуры с народностью, который сделал ее в XV-XVI вв. передовой страной Европы в самых различных областях науки и искусства. Из всех литературных жанров новелла в Италии - какую бы разновидность ее мы ни взяли: новелла сатирическая, авантюрная, эротическая и т. д. - особенно насыщена колоритом и движением, этими двумя типичными признаками ренессансного искусства.

В Испании, в силу особенностей ее исторического развития, глубоко внедрились в народное сознание принципы католицизма и монархизма, осмыслявшиеся как символы национального и политического единства страны. Отсюда - известного рода догматизм и морализм испанского национального мышления, заставляющие говорить об испанском Возрождении со значительными оговорками и ограничениями.

Буйное своеволие итальянской новеллы было здесь не ко двору.

Литературный антагонист Сервантеса, Лопе де Вега в данном случае, как и в целом ряде других, имеет с ним в своем творческом методе немало общего. "Назидательные новеллы" Сервантеса (едва ли не самые ранние из вполне оригинальных по сюжетам испанских новелл) {Полностью сборник "Назидательные новеллы" был опубликован в 1613 г. Почти все другие, более ранние новеллы Сервантеса, являются переводами или пересказами иноземного материала (см. К. Н. Державин. Сервантес. М.-Л., Гослитиздат, 1958, стр. 293-294).}, ненамного предшествуя новеллам Лопе, ориентируют его на идеальные образы и на положения, характерные для испанской моральной

мелкодворянской проблематики, притом с ярким колоритом места и времени: тайная любовь с серенадами, дуэлями и похищениями, переодевания девушек в мужское платье, скитания героев у себя на родине и на чужбине с пастухами, плутами, кондотьерами и конквистадорами. Две новеллы Лопе заканчиваются счастливо, две трагически, но во всех звучит вера в жизнь, призыв к борьбе и надежде, а главное - мысль о том, что, если герой выполнил свой жизненный долг, свое "назначение", он может счесть свой путь свершенным и уйти из жизни со спокойной совестью и моральным удовлетворением. Это одно из тех сочетаний эпикуреизма и скептицизма, каких в XVII в. было так много на Западе, еще не освободившемся от религии.

Новеллы Лопе - хороший пример того, что можно назвать "энергетизмом" испанской литературы Золотого века. В пьесе Аларкона "Сеговийский ткач" есть двустишие:

Тот, кто сердцем благороден,
Чуть помыслил - уж свершил.

Таковы герои пьес Лопе, таковы же и герои его новелл. Ни минуты передышки! Ни на миг без движения! Вечная жажда новых впечатлений, открытия, замыслов. Только бы деятельность! А на что она направлена - почти безразлично. И потому мы вынуждены мириться с тем, что великий драматург, чаровавший всю Испанию, в своих новеллах даже не пытается разработать сюжеты или сколько-нибудь постараться согласовать характеры с фабулой. В новеллах Лопе господствует некоторая условность, в отличие от главных его источников и образцов - Сервантеса и итальянского новеллиста XVI в. Банделло. Нарушение элементарных правил стиля и композиции можно встретить здесь на каждом шагу. Не ищите в новеллах правдоподобия, последовательности, логики, равновесия, экономии средств: повествование вьется причудливой лентой. Автор растягивает и сжимает свой рассказ, упрощает и вдаётся в подробности, вводит новые мотивы, оставляя их затем без развития, вставляет столько декоративных стихов, сколько ему вздумается, а еще чаще прерывает рассказ отступлениями, бесконечными и разнообразными, все равно о чем, лишь бы они нравились слушательнице. В противном случае - пусть она их не читает, а просто опускает, как он не раз и предлагает ей делать. "Наскучили стихи? Выпускайте их, не читайте. Не верите точности? Измените, как найдете лучше. Я на все согласен, лишь бы вам угодить". Им владеет *Lust zum Fabulieren* {Жажда рассказывать (выражение Гете, нем.)}.

Не доходя нигде до открытого пародирования, Лопе, подобно Боярдо и Ариосто (недаром упоминаемых им, правда ошибочно, в связи с историей

новеллы, в начале "Приключений Дианы"), постоянно привносит нотку юмора при передаче главного сюжета, хотя бы весьма трогательного, и включает, словно фарсы или интермедии, множество шуток, анекдотов или просто разрозненных комических черточек. И не удивительно: с давних пор примесь комического была могущественным средством заострения трагического и усиления нежного, трогательного элемента.

Повествование должно быть предельно легким и непринужденным - другого закона Лопе не признает. Чтобы понравиться, рассказ должен быть принаряжен. Лопе рассыпал по страницам новелл множество цитат из древних авторов, главным образом римских, реже - греческих (Вергилий, Сенека, Ювенал, Лукан, Теренций, Аристотель, Плутарх и т. д.), мифологических сравнений, всевозможных шуток, анекдотов, порою весьма забавных (о том, как крестьянин выучил наизусть "Верую", как другой крестьянин "подарил" зайца рыцарю, отнявшему его силой, о низенькой невесте на высоких каблуках, о наусниках, придающих усам грозный вид, об актере, угодившем требовательному зрителю, и т. д.), насмешек над поэтами и драматургами, над литературными вкусами, неологизмами, и т. п. Сюда же относятся вставные письма и стихи. Это стиль, созданный не Лопе, а другим писателем эпохи - Антонио де Грварой, который и ввел его в моду. Но Лопе своеобразно его разработал, внося в него шутовскую и изумительную добродушие.

Время Лопе де Беги было эпохой борьбы двух стилей - вычурного (гонгоризм, культизм), который возглавлялся поэтом Гонгорой, и ясного, прозрачного, решительным сторонником которого был Лопе де Вега. Но последнему это не мешало иногда увлекаться цветистостью речи и сложными метафорами: в новеллах такие ухищрения нередки, особенно во вставных стихах. Впрочем, в них почти всегда чувствуется оттенок шутливости, столь привычный в этих новеллах.

Жанр, избранный Лопе, очень своеобразен и требует совсем особых критериев: то, что в другом случае составляет безусловный недостаток, здесь является достоинством, и наоборот. Критиковать композицию новелл с точки зрения логики или классических правил очень нетрудно. Но при этом можно проглядеть самое очаровательное, что в них есть. Это - полная внутренняя свобода, непринужденность, скажем смело - небрежность, придающая им воздушную легкость {Таков же и язык их, полный вольностей и погрешностей, делающих ряд мест, по мнению специалистов, занимавшихся новеллами Лопе, непонятными. (Мы были вынуждены перевести некоторые темные места по догадке.) Правда, текст первого издания новелл Лопе сильно испорчен. Но, независимо от этого, язык новелл отличается большей степенью разговорности, чем та, какая обычно встречается в литературных произведениях. Один

исследователь нашел в них фразу, содержащую двенадцать относительных местоимений ("который", "которого", "что"). Есть просто непонятные слова, неправильные синтаксические конструкции и т. п. Но именно это и придает стилю Лопе непринужденность, сообщающую ему особую прелесть.

Само собой разумеется, переводчик лишен был средств передать эти особенности языка Лопе.}

Лопе знает лишь линейное построение фабулы с вольным пользованием временем, путем наращивания действий и событий, без возврата к прежнему, повторного анализа, углубления.

Для чего в "Мученике чести", в эпизоде столкновения Фелисардо с Алехандро, так выразительно подчеркивается, что первый был брюнет, а второй блондин? И для чего в той же новелле дальше дается детальная топография Константинополя, описываются причуды и странности султана и рассказывается история падения и гибели Насуфа-паши, никак не связанного с героем и его судьбой? Такие вопросы можно задавать десятками. Особенно удивляют отступления, например экскурс об игорном доме, рассуждения о тактике служащих при дворе ("Приключения Дианы"), об угодничестве и соперничестве слуг и об урожае на стихи, о грозных усах, о власти любви над ревностью ("Мученик чести"), об опасности промедления, о мстительности женщин, о задачах мужа, об опасности хранения писем ("Благоразумная месть"), о любопытстве женщин и защищающем голову котелке, о неумении примириться с отказом, о сравнении доблести с красотой и умом, о плохой стрельбе мавров или географические детали ("Гусман Смелый").

Особую группу составляют отступления самокритические, направленные на собственную литературную технику и на жанровые условности. Лопе извиняется за свои слишком частые отступления, посмеивается над применением им самим условных мотивов, над своим притязанием на точность, над своими ошибками и забывчивостью... К тому же роду ласкового подшучивания над читателем или прекрасной заказчицей новелл относится и грандиозная выдумка о саморанских быках со всем дальнейшим в момент волнующей встречи на море Фелисардо с его возлюбленной и сыном, введенная, по уверению Лопе, чтобы замаскировать его неспособность передать весь пафос сцены, всю силу чувств, охвативших его персонажей.

Внутренняя свобода, полнейшая естественность и непринужденность Лопе-рассказчика позволяют ему обрести полную независимость от утвердившихся в его среде и как будто бы в его творчестве взглядов, суждений, оценок. Мы встречаем в новеллах Лопе такие мысли, каких не решились бы у него предположить и которые рисуют священника, сотрудника святейшей инквизиции, своего человека в среде высшей аристократии, певца дворянской

чести в несколько неожиданном и необычном свете.

Всем известно, каким диким изуверством с точки зрения гуманности и каким великим бедствием для испанского народа было издание в 1609 г. королем

Филиппом III, под давлением верхушки испанского духовенства, указа об изгнании из пределов страны, под предлогом государственной измены, морисков (испанских мавров), с конфискацией всего их имущества, за исключением того, что они смогут унести с собой в руках. Десятки тысяч трудолюбивых семей оказались разрушенными и разоренными, ремесло и промышленность, особенно на юге страны, потерпели страшный урон, и плодороднейшая, цветущая область Испании Андалусия была превращена в иссохшую степь, так как кастильцы, занявшие земли мавров, оказались не в состоянии перенять восточную систему искусственного орошения. Лживость ссылки на нелояльность морисков была очевидна всякому здравомыслящему человеку, но страх перед инквизицией был так велик, что ни один писатель не осмелился высказать открыто свое мнение. Сервантес не промолчал, но он прибегнул к эзоповскому языку и в главе 54 части II "Дон-Кихота" рассказал историю мавра Рикоте, предварив ее панегириком мудрости и справедливости короля Филиппа III и его духовника... И вот, только со значительно меньшим количеством благонамеренных оговорок, делает то же Лопе де Вега, рисуя судьбу "мученика чести" - лояльнейшего из морисков, потомка благороднейшего рода Абенсераджей, заставляя его бежать и погибнуть от руки турок, причем апологию морисков берет на себя не кто иной, как вице-король Сицилии, доказывающий, что не должен ничего опасаться честнейший Абенсерадж, если принц Фесский в таком почете лишь оттого, что он принял христианство...

В той же новелле рисуются испанцы на юге Италии. Испанская монархия в ту пору грезилась о мировой державе, попирая своей пятой половиной Европы. Что представляло собой господство испанской монархии, мы знаем по истории Нидерландов. И все-таки оно было предметом славы и гордости испанского дворянства, рупором которого столько раз бывал Лопе. Но здесь, описывая поединок между двумя испанцами, Лопе, упоминая о сбежавшихся на шум местных жителей, говорит - и это не вызвано развитием сюжета - "о той опасности, которая грозит испанцам во всей Европе со стороны толпы", то есть о народной ненависти к ним.

Всем известно, какое большое место занимала в быту и идеологии испанского дворянства XVI в., а еще более - театра эпохи, проблема оскорбленной чести мужа и его мести за нее. Известно и то, какое внимание ей уделил Лопе де Вега. Отношение его к этой проблеме слишком сложно, чтобы быть исчерпанным здесь. Признаем, однако, что, в отличие от Кальдерона, Лопе

более сочувствовал счастливому любовнику, нежели обманутому мужу. Но нигде и никогда он не доходил до тех мыслей, какие мы находим в его "Благоразумной мести". Здесь рассказана история любви глубокой и верной, но не завершившейся браком лишь по вине случайных обстоятельств. Когда любящие после разлуки встречаются снова, старая любовь оживает, но к этому времени героиня оказывается выданной замуж за человека, внешне вполне достойного, но ей совершенно безразличного. Узнав об их тайных отношениях, муж решает отомстить за свою честь. Но он мстит "благоразумно" - то есть так, чтобы, с одной стороны, при этом самому не пострадать, ответив перед законом, а с другой стороны, уничтожить не только "виновных", но и всех без исключения соучастников или свидетелей их встреч.

Словно для того, чтобы относительно его собственного мнения о судьбе обманутого мужа не оставалось неясности, Лопе от себя говорит: "Я всегда считал, что пятно на чести оскорбленного никогда не может быть смыто кровью того, кто его оскорбил, ибо то, что уже произошло, не может больше не быть, и безумие воображать, что, убив оскорбителя, можно снять с себя оскорбление: ведь на самом деле оскорбленный остается со своим оскорблением, тогда как наказанный умирает, и оскорбленный, удовлетворив порыв своей мести, не может восстановить свою честь, которая, чтобы быть безупречной, должна быть обязательно незапятнанной..." В XVII в. так мыслить мог только писатель, который на пути к высокой человечности освободился от многих сословных предрассудков своего времени.

Несмотря на то что четыре новеллы стоят особняком в творчестве Лопе де Веги, они позволяют глубже и по-новому познать мировоззрение великого испанского драматурга.

3. И. Плавский

А. А. Смирнов, ученый и литератор

Публикуемый перевод новелл великого испанского писателя-гуманиста Лопе де Веги - одна из последних работ известного советского ученого и литератора Александра Александровича Смирнова (1883-1962), вся долгая жизнь которого была посвящена изучению и пропаганде выдающихся достижений передовой культуры Западной Европы.

Юношей пришел А. А. Смирнов в начале нынешнего столетия на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Ему посчастливилось: учителями А. А. Смирнова стали выдающийся русский ученый, академик А. Н. Веселовский, и его ближайшие

ученики - исследователь испанской культуры профессор Д. К. Петров, профессор Ф. А. Браун и тогда еще приват-доцент, а впоследствии академик В. Ф. Шишмарев, приобщившие юношу к германской и романской филологии. Уже в студенческие годы, усиленно изучая языки и литературу Западной Европы.

А. А. Смирнов с особым рвением отдался изучению культуры западноевропейского средневековья. В 1907 г., закончив Университет с дипломом 1-й степени и став учителем гимназии, он решает продолжать начатые еще студентом научные занятия. Год спустя, весной 1908 г., Министерство просвещения прикрепляет его к кафедре романо-германской филологии для "приготовления к профессорской и преподавательской деятельности". С этого времени и начинается плодотворная научная деятельность А. А. Смирнова.

В 1911 г. он успешно сдает магистерские экзамены и получает звание приват-доцента Петербургского университета; в том же году его направляют на два года в заграничную командировку. В Париже, а затем в Бретани и Дублине, он продолжает изучать средневековую французскую культуру, кельтский фольклор, старые и живые кельтские языки. Его занятиями в те годы руководили крупнейшие ученые Франции - медиевист Жозеф Бедье, знаток испанской культуры Альфред Морель Фасьо, кельтолог Арбуа де Жубанвиль и другие. К этому же времени относятся и первые публикации научных трудов А. А. Смирнова. Свидетельством признания, которое сразу же получили в кругу специалистов первые исследования молодого ученого, было включение его в состав редакции научного журнала по кельтологии "Revue Celtique", где он в течение двух лет выполнял обязанности ученого секретаря.

По возвращении из заграничной командировки А. А. Смирнов начинает читать курсы и вести практические занятия по романской и кельтской филологии, по истории западноевропейской литературы на историко-филологическом факультете Петербургского университета и одновременно на Высших женских (Бестужевских) курсах и в других высших учебных заведениях. С этой поры и почти до самой кончины, с небольшими перерывами, вся научно-педагогическая деятельность А. А. Смирнова была связана с Ленинградским университетом. Здесь в 1934 г. он получил звание профессора, а несколько лет спустя по совокупности своих научных работ также и ученую степень доктора филологических наук.

За пятьдесят с лишним лет научной деятельности Александр Александрович Смирнов опубликовал около полутора ста научных трудов. Круг его исследовательских интересов был весьма широк. Мы охарактеризуем поэтому кратко лишь некоторые наиболее значительные направления его научной

деятельности.

И в нашей стране, и за рубежом А. А. Смирнов получил всеобщее признание прежде всего как крупнейший советский медиевист, исследователь средневековой французской и вообще западноевропейской культуры. Начав исследования в этой области еще в студенческие годы, продолжив затем свои занятия за границей, он с самого начала обратился прежде всего к изучению народных истоков культуры западноевропейского средневековья. В противовес реакционной буржуазной науке, не только отрицающей значение народного творчества для европейских литератур, но и подвергающей нередко сомнению самую способность народа к оригинальному художественному творчеству, А. А. Смирнов на протяжении многих лет своими трудами утверждал идею о народе как о создателе и вдохновителе величайших творений средневековья. Особую роль при этом сыграли занятия А. А. Смирнова кельтским фольклором. Кельтология как наука, в сущности говоря, была введена в обиход русской научной мысли именно А. А. Смирновым. Уже в советское время он превосходно переводит древние ирландские саги, снабдив издание их обширным и оригинальным историко-литературным введением и тщательным научным комментарием. Именно появление этого труда, впервые раскрывшего большинству советских читателей огромную познавательную и художественную ценность древних преданий кельтских народов, позволило включить изучение ирландского эпоса в вузовские курсы истории зарубежных литератур.

Еще в 1910 г. начинающий ученый опубликовал работу "Новая теория происхождения французского эпоса". Подвергнув научной критике взгляды французского ученого Жозефа Бедье, А. А. Смирнов уже здесь горячо отстаивает идею народного происхождения героической эпической поэзии. Позднее он не раз возвращался к этой теме как на материале французского эпоса (в частности, "Песни о Роланде"), так и на примере эпического творчества других народов.

Внимание к демократическим традициям средневековой культуры Запада побудило А. А. Смирнова обратиться и к другим памятникам средневековья. Исследуя творчество автора рыцарских романов Кретьена де Труа, рыцарский роман "Тристан и Изольда" или возникшие в городской среде повести

"Мул без узды" и "Окассен и Николетт", изданные по-русски под его редакцией и с его предисловиями, А. А. Смирнов неизменно подчеркивал не только народные истоки этих произведений, но и присущий им гуманистический взгляд на действительность. Свои наблюдения в этой области он обобщил в имевшей принципиальное значение статье "Средневековая поэзия и гуманизм" (1944).

Другой важнейший аспект научной деятельности А. А. Смирнова составляют его исследования западноевропейской ренессансной культуры, и в первую очередь творчества величайшего представителя культуры Возрождения Вильяма Шекспира. О Шекспире им была написана и большая монография, появившаяся в 1934 г. и положившая начало серьезному изучению шекспировской драматургии в советской науке, и множество статей, касающихся самых различных аспектов шекспирологии, начиная с проблем текстологии и кончая истолкованием величайших творений гениального английского драматурга. Эти труды сделали А. А. Смирнова, по общему признанию, авторитетнейшим шекспирологом нашей страны, к мнению которого прислушивались прогрессивные ученые далеко за рубежами Советского Союза. Как бы итогом многолетнего изучения А. А. Смирновым творчества великого английского драматурга явились вышедшая уже посмертно научно-популярная книга "Уильям Шекспир" (1963) и полное собрание сочинений Шекспира, которое выходило под редакцией А. А. Смирнова дважды - в 1936-1941 гг. и в 1957-1960 гг. Эти издания, как и все труды советского ученого, отличаются широкой филологической базой, тщательной редактура переводов и полнота комментариев, которым могли бы позавидовать многие зарубежные публикации Шекспира.

Занятия творчеством английского драматурга естественно привели исследователя к изучению и других вопросов развития ренессансной культуры как в Англии, где внимание А. А. Смирнова привлекли драматурги (Кристофер Марло, Бен Джонсон и др.), так и во Франции, Италии и Испании. Обобщенную картину развития средневековой и ренессансной литературы этих стран А. А. Смирнов дал в соответствующих главах коллективного учебника по истории западноевропейской литературы средних веков и Возрождения, вышедшего под редакцией академика В. М. Жирмунского двумя изданиями в 1947 и 1959 гг. и до сих пор являющегося настольным пособием всех студентов, изучающих культуру Западной Европы. Большой интерес представляют также главы, написанные А. А. Смирновым о средневековой и ренессансной литературе Франции в I томе "Истории французской литературы", выпущенной издательством Академии наук СССР.

Существенное место в научных занятиях А. А. Смирнова занимала испанская литература. Еще одно из самых ранних его исследований - "Испанский романтизм" - вошло в коллективную работу "История западных литератур (1800-1910)", опубликованную в 1914 г. Позднее, однако, его интересы сконцентрировались и здесь на средневековье и Возрождении. В частности, А. А. Смирнов положил начало научному изучению культуры средневековой Испании в нашей стране. В 1940 г. появилась его статья

"Испанский народный эпос и "Поэма о Сиде""", обстоятельное исследование, впервые в советской науке столь подробно и основательно раскрывшее специфические особенности героического эпоса Испании. Основные положения этой работы А. А. Смирнова развивают и дополняют статьи, включенные ученым в издание отредактированного и обработанного им же (в сотрудничестве с Ю. Б. Корнеевым) перевода "Песни о Сиде", опубликованного в серии "Литературные памятники" в 1959 г. Еще до этого, в 1947 г., была опубликована небольшая, но очень содержательная и важная по теме работа А. А. Смирнова "Об основных особенностях средневековой испанской литературы". Наконец, в сборник своих статей "Из истории западноевропейской литературы" (вышел посмертно, в 1965 г.) А. А. Смирнов отобрал среди прочих своих работ также и исследование замечательного поэтического памятника испанского средневековья - "Книги благой любви" Хуана Руиса. Итогом медиевистских занятий А. А. Смирнова Испанией стала книга "Средневековая литература Испании", оставшаяся в рукописи и ныне подготовленная к изданию. Многие годы своей жизни посвятил А. А. Смирнов и изучению испанской ренессансной культуры. Уже в 1916 г. в Новом энциклопедическом словаре появляется его статья о творчестве Лопе де Веги. В 1929 г. совместно с Б. А. Кржевским он редактирует новый перевод "Дон Кихота" Сервантеса, переиздававшийся позднее почти два десятилетия и легший в основу всех переводов сервантесовского романа на языки народов СССР. Первое издание этого перевода предваряла статья А. А. Смирнова об основных этапах и опыте переводческой работы русских литераторов, переводивших творение Сервантеса. В 1960 г. появляется первое издание "Новелл" Лопе де Веги в переводе и со вступительной статьей А. А. Смирнова, а в 1962 г. опубликована большая статья, написанная совместно с автором этих строк, о драматургии Лопе де Веги; статья предваряет предпринятое издательством "Искусство" шеститомное собрание сочинений испанского драматурга. Эти работы А. А. Смирнова о Лопе де Веге пронизаны стремлением раскрыть демократизм и гуманистическое содержание его драматургии, показать ее непереходящую художественную ценность и удивительное своеобразие.

Характерной особенностью всего научного творчества А. А. Смирнова, получившей наиболее яркое развитие именно после революции, является то, что он никогда не замыкался в узких рамках "академизма". Все его труды обращены к самым широким читателям, направлены на то, чтобы сделать сокровища мировой культуры достоянием советского народа, наиболее законного наследника и высокого ценителя этих богатств человеческого гения. Не случайно поэтому в жизни А. А. Смирнова такое значительное место занимала издательская и организационно-редакторская деятельность. В 1922 г.

он вошел в состав редакционной коллегии основанной А. М. Горьким "Всемирной литературы", имевшей задачей систематический отбор наиболее значительных произведений мировой литературы для перевода и публикации в нашей стране. Позднее он был постоянным консультантом и активным сотрудником крупнейших советских книгоиздательств. В частности, и в серии "Литературные памятники" Академии наук СССР, в которой выходит эта книга, А. А. Смирнов не только подготовил и редактировал "Песнь о Сиде", "Песнь о Роланде", три тома "Опытов" Монтеня, "Любовь Психеи и Купидона" Ж. Лафонтена, но и способствовал переводу и публикации многих других произведений писателей Западной Европы. Под его редакцией в разное время вышли собрания сочинений Мольера, Стендаля, Мериме, Мопассана, книги классиков мировой литературы и современных зарубежных авторов, в том числе Сервантеса, Ариосто, Буало, Байрона, Ромена Роллана, Роже Мартен дю Гара и многих других.

На протяжении полувека А. А. Смирнов сочетал свои неустанные научные занятия с преподавательской работой. И эта сторона его деятельности имела для него также первостепенное значение. А. А. Смирнов вошел в жизнь нескольких поколений советских филологов - специалистов в области зарубежной филологии как любимейший учитель и мудрый наставник.

Особую роль сыграл А. А. Смирнов в формировании и развитии советской переводческой школы. Ему принадлежит честь одним из первых обратиться к разработке теоретических основ нового переводческого искусства, которым ознаменована деятельность советских мастеров художественного перевода. В своей статье по теории и методике литературного перевода, опубликованной в "Литературной энциклопедии" (т. 8, 1934), А. А. Смирнов подчеркивал, что

"... каждый перевод есть в той или иной мере идеологическое освоение подлинника" и это проявляется как в выборе переводимого произведения, так и в самом методе перевода. А. А. Смирнов решительно выступает против получившей широкое распространение на Западе точки зрения, исходящей из признания якобы принципиальной невозможности точного перевода, и, вводя понятие "адекватного" перевода, определяет подробно его задачи. В противовес механическому "калькированию" переводимого текста, А. А. Смирнов видит цель адекватного перевода "в передаче смыслового содержания, эмоциональной выразительности и словесно-структурного оформления подлинника". В части, где речь идет о методе литературного перевода, статья А. А. Смирнова содержала чрезвычайно ценные практические указания переводчикам. Эти же принципы практически преподавал своим ученикам А. А. Смирнов в переводческом семинаре, которым он руководил в течение ряда лет и из которого вышло немало ныне известных мастеров перевода, вслед за учителем

поднявших своими трудами на небывалую доселе высоту культуру художественного перевода в нашей стране.

А. А. Смирнов был и сам превосходным переводчиком, и одно из самых убедительных свидетельств этого - публикуемый ныне перевод новелл Лопе де Веги, осуществленный им впервые на русском языке. В послесловии к переводу А. А. Смирнов указывает на то, что наиболее характерной особенностью этих новелл является "полная внутренняя свобода, непринужденность, скажем смело - небрежность, придающая им воздушную легкость"; это же нашло отражение и в языке новелл, полном вольностей и погрешностей, которые делают некоторые места в тексте трудными для понимания. Нужно ли доказывать, какие трудности эти особенности оригинала ставят перед переводчиком! К чести А. А. Смирнова можно смело сказать, что, подобно опытному лоцману, он уверенно обошел все эти "подводные рифы" испанского текста. Более того, его переводу присуща та удивительная широта и раскованность, без которой невозможно было бы передать своеобразие новелл замечательного испанского гуманиста.

По сравнению с первой публикацией перевода в издательстве "Художественная литература" (1960) в текст, публикуемый ныне, редактором внесены некоторые поправки в соответствии с критическим изданием текста новелл Лопе де Веги на языке оригинала (см. Lope de Vega. *Novelas a la senora Marcia Leonarda*, критически изданные Джоном и Леор Фитц-Джералд в журнале "Romanische Forschungen", 1913, Э 3, 4).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИАНЫ

1 ... написать новеллу... - По-испански слово *novela* во времена Лопе, как, впрочем, и теперь, не имело твердого значения и могло обозначать любое, более или менее пространное, прозаическое произведение. Рассказывая здесь о происхождении и развитии жанра новеллы, Лопе де Вега смешивает разные вещи.

2 "Аркадия" - пасторальный роман, частью в стихах, частью в прозе, написанный самим Лопе; был опубликован в 1598 г. и имел большой успех.

3 "Пилигрим" - "Пилигрим в своем отечестве" - авантюрный роман Лопе (1604).

4 "Эспландиан", "Феб", "Пальмерин"... "Амадис" - позднерыцарские испанские романы XV-XVI вв., авторство и точная датировка которых плохо поддаются установлению. Наиболее известный из них - "Амадис Галльский" - опубликован в 1508 г. в обработке Гарей Родригеса де Ментально; повидимому,

однако, существовала более ранняя португальская версия этого романа, но то, что он первоначально был написан "некоей португальской дамой", - ничем не подтверждаемое предание.

6 Боярдо Маттео (1441 -1494) - итальянский поэт, родом из Феррары, автор оставшейся незаконченной рыцарской поэмы "Влюбленный Роланд", продолжением которой как бы стала поэма "Неистовый Роланд", созданная другим феррарским поэтом Лодовико Ариосто (1474-1533).

6 Банделло Маттео (около 1485-1563 гг.) - итальянский новеллист, сборник новелл которого пользовался популярностью в Италии и за ее пределами.

7 ... Толедо, который по справедливости называют императорским... - Некоторые кастильские короли средневековья присваивали себе титул императора, который, однако, за ними не укрепился. В частности, императором провозглашал себя Альфонс VI, отнявший в 1085 г. у мавров город Толедо и сделавший его своей столицей. Видимо, в связи с этим Толедо и был прозван императорским городом.

8 ... Латона гордилась Аполлоном и богиней Луны. - Латона - женское божество, согласно античному мифу - возлюбленная Юпитера, от которого у нее было двое детей - Аполлон, бог солнца и покровитель искусств, и Диана, богиня Луны и охоты.

9 ... его святого... будут подвешивать... - В католических странах существовал старинный обычай, частично сохранившийся до наших дней: празднуя чьи-либо именины, подвешивать к потолку куколку святого, имя которого носит данное лицо.

10 ...слова знаменитой трагедии о Селестине... - Лопе де Вега имеет в виду знаменитый роман в диалогической форме "Трагикомедия о Калисто и Мелибее", более широко известный под названием "Селестина" и написанный около 1500 г. Фернандо де Рохасом.

11 ... быть Гелиодором... - Гелиодор - греческий писатель III в. н. э., автор романа "Эфиопика", получившего широкую известность в Европе в средние века и в эпоху Возрождения.

12 ... автором повести о Левкиппе и влюбленном Клитофонте. - "Левкипп и Клитофонт" - популярный позднегреческий роман, принадлежащий Ахиллу Тацию (III в. н. э.).

13 ...описанные Теренцием в его "Андриянке"... - "Андриянка" - комедия римского писателя II в. до н. э. Теренция. Однако место, которое в точности соответствовало бы тому, что говорится у Лопе, в ней не содержится.

14 ... была Троей, Карфагеном или Нуманцией? - Троя, Карфаген, Нуманция - три города древности, прославившиеся своей героической стойкостью во время вражеской осады.

15 Так он сделался Тарквинием менее стойкой Лукреции... - Сравнение героев новеллы, охваченных взаимной любовью, с грубым насильником Тарквинием, сыном последнего римского царя Тарквиния Гордого, обесчестившим жену своего друга Коллатина, звучит несколько странно. Возможно, что это, как и следующее сравнение, - шутка.

16 ... не постигла участь обольстителя прекрасной Фамари. - В Библии рассказывается, что сын царя Давида Аммон, пленившись красотой своей сестры Фамари, до такой степени влюбился в нее, что в порыве страсти силой овладел ею, но после этого сразу же возненавидел ее так же сильно, как раньше любил.

17 ...как говорит Сенека... - Цитируемая сентенция римского философа Сенеки Младшего (I в. н. э.) содержится в его "Моральных письмах" (кн. II, письмо 8).

18 ... увезет ее в Индии... - Предпринимая свое плавание, Колумб был уверен, что, обогнув земной шар, он откроет кратчайший путь в Индию, и потому, достигнув Антильских островов, решил, что это азиатская Индия. Поэтому долгое время, даже после того, как ошибка Колумба стала известной, новооткрытые области Центральной и Южной Америки продолжали в Испании называть Индиями.

19 Эскудо - старинная испанская золотая монета, весом около одного грамма.

20 ... оделся с большим старанием во все черное... - Во времена Лопе испанцы, отправляясь в поездку, обычно надевали яркие одежды. Поэтому Селио, чтобы не вызвать у Октавио никаких подозрений, был одет в черное.

21 Аюнтамьенто - здание городского управления, ратуша.

22 ... в приделе святого Христофора. - По окончании службы церкви использовались как место деловых встреч, прогулок, обмена новостями, ухаживания кавалеров за дамами и т. п. В приделе св. Христофора толедского собора висела большая афишка, воспрещавшая, под страхом отлучения от церкви, пользоваться территорией храма для подобных целей; но, по-видимому, запрет этот оказывал мало действия.

23 Плиний Старший - римский писатель и ученый I в. н. э., автор "Естественной истории".

24 ... шли за стадами вплоть до Эстремадуры... - Овцеводство в Испании в те времена носило полукочевой характер; огромные стада овец перегонялись с севера на юг и обратно в поисках зеленых пастбищ.

25 ... столь же неотесанный, как его имя... - Сельвахио по-испански значит "дикий".

26 ... довез ее до Севильи. - Севилья была в то время крупнейшим портом, откуда отплывали корабли в Америку.

27 Если б мне дарован был... и т. д. - вольный перевод из "Энеиды" Вергилия (песнь IV, ст. 327333).

28 Часть себя, неблагодарный... - вольный перевод из "Героид" Овидия (письмо VII, Дидона - Энею, ст. 133-136).

29 ... стада Адмета. - Адмет - мифический царь, владевший несметными стадами, пасти которые был обречен некоторое время Аполлон.

30 Бартуло (1313-1357) и его ученик Бальдо - итальянские юристы, авторы трактатов по римскому праву.

31 Гелиодор со своим Феагеном, а иной раз и с Хариклеей... - Лопе де Вега снова намекает на роман Гелиодора "Эфиопика", повествующий о любви и приключениях Феагена и Хариклеи.

32 ... подражая Марциалу... - Марциал - римский поэт I в. н. э., автор сборника эпиграмм, отличавшихся большой вольностью.

33 Гарсиласо де ла Вега (1503-1531) - испанский поэт, писавший мелодичные сонеты, послания и элегии. Приводимое место Лопе цитирует по памяти, не совсем точно.

34 ... при возвращении торнадо. - В оригинале Гарсиласо де ла Вега употребляет слово *tornada* вместо более употребительного *vuelta* в значении "возвращение". Переводчик же для сохранения стилистического эффекта использовал испанское слово *торнадо*, означающее "ураган", "смерч", во времена Лопе употреблявшееся крайне редко.

35 Боскан Хуан (1490-1542) - испанский лирик, мастер сонета, друг Гарсиласо де ла Веги.

36 ... увозя в индийскую Картажену... - Индийская Картажена (в отличие от Картажены, города на восточном побережье Испании) - город и область на территории нынешней Венесуэлы, на побережье Карибского моря.

37 ... пестрыми по своему населению из-за всякого рода алчности... - Лопе хочет сказать, что в эти края стекались самые отчаянные плуты и авантюристы и что из-за отдаленности поддерживать там законность было трудно.

38 ... король Испании решил завоевать Гранаду... - Отвоевание города и королевства Гранады (последнего владения мавров в Испании) было совершено королем Фердинандом V в 1492 г., незадолго до открытия Америки Колумбом, и, следовательно, Лопе де Вега здесь допускает анахронизм.

39 ... в неусыпного Аргуса... - Аргус (миф.) - стоглазый великан, синоним зоркого стража (особенно на службе у ревнивых мужей).

40 ... назначил его командором Алькантары... - Алькантара - крупнейший после Сантьяго духовно-светский рыцарский орден в Испании.

41 ...Александр играл на лире и пел, а Октавиан сочинял стихи... - Александр Македонский (356 - 323 гг. до н. э.) - крупнейший полководец и

государственный деятель древнего мира, царь Македонии; Октавиан - римский император Август с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э.; он действительно писал трагедии, эпиграммы и стихотворения.

42 Вальядолид - город в Кастилии; некоторое время был королевской резиденцией.

МУЧЕНИК ЧЕСТИ

1 ... указывавшему путь Леандру... - Леандр (миф.) - юноша, каждый вечер переплывавший при свете маяка и звезд Геллеспонт (ныне Дарданелльский пролив), на другом берегу которого жила любимая им девушка Геро. Но в одну особенно бурную и темную ночь он утонул.

2 ...таково были мнение и самого Аристотеля... - Аристотель в "Поэтике", гл. 13 -14, уподобляет эпос трагедии, считая главной их целью, в отличие от истории, доставлять удовольствие. Лопе де Вега распространяет это и на прозаическое повествование, как роман или новелла.

3 Франсиско Хименес де Сиснерос (1430-1517) - кардинал, видный духовный и политический деятель, был вдохновителем завоевания испанцами Орана в Северной Африке; основал университет в Алькале де Энаресе.

4 ... слыть ... по храбрости - графом Фернаном Гонсалесом. - Кастильский граф Фернан Гонсалес (932-970) добился независимости Кастилии и мужественно сражался с маврами; его храбрость воспевается в испанском героическом эпосе и многочисленных народных романсах.

5 ... сочинив комедию "Взятие Мастрихта"... - Комедия "Взятие Мастрихта" была написана Лопе де Вегой вскоре после 1604 г. Штурм Мастрихта (во Фландрии) испанскими войсками имел место в 1579 г.

6 ... в отдаленной аллее Прадо... - Прадо - парк в Мадриде, одно из излюбленных мест прогулок мадридской молодежи.

7 ...участь сыновей Ариаса Гонсалеса... и т. д. - Ариас Гонсалес и Диего Ордоньес - персонажи старинных эпических преданий и народных романсов. Диего Ордоньес обвинил всех жителей Саморы в том, что они соучаствовали в предательском убийстве короля Санчо II, и вызвал на поединок любого из них, кто согласится с ним сразиться. Ариас Гонсалес, воспитатель правительницы Саморы доньи Ураки, выставил ответчиками семерых своих сыновей.

8 Проперций - римский поэт (род. в I в. до н. э., ум. в I в. н. э.), считал, что любовь неотделима от ревности.

9 Карранса Херонимо - командор, живший во второй половине XVI в. и написавший книгу "Философия шпаги" (1569), посвященную искусству владеть

оружием.

10 Аристотель считает это невозможным... - Мысль Аристотеля передана здесь не вполне точно.

11 ...это не культистские стихи... - Культизм - направление в испанской поэзии того времени, стремившееся к нарочитой сложности, зашифрованности поэтических образов. Лопе де Вега, сторонник демократической поэзии, пользуется любым случаем для того, чтобы высказать свое отрицательное отношение к культизму.

12 ... превосходящий жестокостью Вирено, герцога Селаудии... - у Л. Ариосто в "Неистовом Роланде" (песнь X) есть персонаж по имени Берено, князь Селаудии.

13 Великий Капитан дон Гонсало Фернандес де Кордова (1453-1515) - знаменитый испанский полководец, получивший свое почетное прозвище за завоевание им в 1496 г. Неаполитанского королевства.

14 "Вести с Парнаса" ("Ragguagli di Parnaso") - второсортный сборник стихов, написанный по-итальянски неким Траяно Боккалини и изданный в 1612-1613 гг. Есть сведения, что существовал рукописный перевод этой книги на испанский язык. Не совсем понятно, почему вообще Лопе упоминает здесь эту ничтожную книжонку, автор которой недостаточно почтительно отзывался о завоевателе своей родины.

15 ... новый указ короля нашего Филиппа Третьего... - Первый указ (1609) изгонял лишь морисков из королевства Валенсия, второй (1610) касался также и тех, которые проживали в королевствах Гранада и Андалусия.

16 ... еще во времена покорения Гранады католическими королями. - Католическими королями называли в Испании Фердинанда Арагонского (1452-1516) и его супругу Изабеллу Кастильскую (1451-1504), брак которых в 1469 г. привел к объединению Испании. В годы их царствования в 1492 г. испанцы завоевали у мавров Гранаду, последний участок испанской территории, находившийся в руках мавров.

17 ...род наш ведет начало от Абенсераджей... - Абенсераджи - древний и знатный мавританский род, проживавший в Гранаде до ее завоевания и славившийся своей доблестью и нравственным благородством.

18 Принц Фесский - марокканский принц Мулей-Шейх, принявший испанское подданство и крестившийся в 1593 г., за что был осыпан разными почестями и наградами; умер в 1621 г. Оценка писателем всего этого очевидна.

19 ... Валенсианский архиепископ дон Хуан де Рибера - требовал, чтобы все мориски мужского пола были обращены в рабство и после этого либо отправлены на галеры, либо использованы как каторжники в копиях Америки.

20 ...философ, кажется, Миртил... - Имя философа вымышлено Лопе де

Вегой.

21 Антонио де Гевара (ум. в 1545 г.) - испанский историк и писатель-гуманист, эрудит и выдающийся стилист.

22 ... вода реки Силена... - Возможно, что это обмолвка или опечатка: вместо Силена здесь должна быть названа Лета, река забвения в античной мифологии.

23 "Роковая сила" - комедия Лопе, написанная им около 1600 г. Сохранились сведения, что эта комедия действительно исполнялась пленными христианами.

24 ... вильянсико - народные песенки, обычно рождественские, реже иного религиозного содержания.

25 Здесь, сеньора Марсия... - Весь следующий за этим абзац - нагромождение загадок и шуток. См. о нем в статье.

26 ...романсы о короле Санчо, предательстве Вельидо Дольфоса и невзгодах, доньи Ураки.. - Имеются в виду народные романсы об осаде Саморы войсками короля Санчо II (см. прим. 7). Вельидо Дольфос - житель Саморы, который, согласно народным преданиям, предательски убил Санчо.

27 ... бедствия дона Альваро де Луны. - Альваро де Луна - коннетабль Кастилии, гротсмейстер ордена Сантьяго, фаворит короля дона Хуана II и могущественный вельможа. Утратив милость короля, он был в 1453 г. убит заговорщиками.

28 ... Педро Ордоньес де Севальос - католический миссионер, совершивший в начале XVI в. кругосветное путешествие. Лопе де Вега в шутку преувеличивает число обращенных им в христианство туземцев.

29 ... после Барбароссы... - Барбаросса (по-итальянски - Рыжая борода) - прозвище турецкого корсара, дерзавшего бороться даже с императором Карлом V.

30 Хозяин жизни - титул доверенного слуги (то есть, собственно, палача) турецкого султана, которого тот посылал к обреченному на смерть человеку.

Хозяин жизни являлся к осужденному и без всякого суда и следствия набрасывал ему на шею петлю.

31 Помните рассуждение Сенеки... - Лопе де Вега уже приводил эту сентенцию Сенеки раньше (см. комментарий к новелле "Приключения Дианы", прим. 17).

32 Фатьма... - Здесь у Лопе де Беги явная путаница. Фатьмой он назвал не жену Насуфа, а супругу Махмуда Чигалы, сестру султана (см. 133 стр. нашего издания).

33 ...верно замечено в "Амфитрионе" Плавта... - Соответствующее место содержится во 2-й сцене III акта комедии "Амфитрион" римского комедиографа Тита Макция Плавта (ок. 254-184 гг. до и. э.).

34 ... ибо полумесяц он солню предпочел с досады... - Намек на решение

Фелисардо покинуть христианский мир и перебраться в мусульманский Константинополь.

БЛАГОРАЗУМНАЯ МЕСТЬ

1 ... это не совпадает со взглядами Платона и Сократа, Плутарха и Брута... - Посмеиваясь над пристрастием многих авторов того времени к многочисленным ссылкам на ученых авторитетов античного мира. Лопе де Вега нагромождает здесь имена древних деятелей, никакого отношения не имевших к упоминаемой проблеме.

2 Так говорил он гениям тех мест... - Вергилий. Энеида, песнь VII, ст. 135-138.

3 ... Великие Фивы, или Стократные Фивы (называемые так в отличие от Семивратных Фив в Греции)- город в древнем Египте.

4 ... в единственные ворота Севильи входили и входят величайшие сокровища... Севилья в те времена была портом, куда приходили корабли из заокеанских колоний Испании, доставлявшие золото и другие награбленные испанцами богатства Нового Света.

5 ... доставившими у древних это название Гермю, Пактолу и Тахо... - Герм, Пактол и Тахо - золотоносные реки, славившиеся в древности.

6 ... воспетым Клавдианом. - Клавдиан - позднелатинский христианский поэт IV-V в. н. э. Цитата приводится из его оды к Руфину.

7 ... трагический поэт. - Имеется в виду Сенека Старший, которому приписываются десять трагедий. Лопе цитирует его трагедию "Федра", ст. 1114-1116.

8 ... хотя Хремет и бранит Менедема... - Хремет и Менедем - персонажи комедии Теренция "Сам себя наказующий".

9 ... эта новелла не пастушеский роман... - Лопе посмеивается над пасторальными романами, изображавшими действительность в идиллическом свете.

10 ... ибо всей философии известно... - Все это рассуждение Лопе де Беги представляет собой довольно путаное изложение популярных в те времена в среде итальянских и испанских гуманистов взглядов неоплатоников.

11 Саллюстий Гай Крисп (86-35 гг. до н. э.) - римский историк, автор сочинений "О заговоре Катилины", "Югуртинская война", а также сохранившейся лишь в отрывках "Римской истории".

12 ...упомянутого индианца. - Индианцами в Испании называли испанцев, побывавших за океаном и вернувшихся на родину.

13 Карранса - см. комментарий к новелле "Мученик чести" (прим. 9).

14 Луис Пачеко - знаменитый испанский фехтмейстер второй половины XVI в., автор нескольких теоретических сочинений по фехтовальному искусству.

15 Стаций - римский поэт I в. н. э.; автор поэмы "Фиваида"

16 ... Новоиспанская флотилия. - Новой Испанией в те времена называли испанские колониальные владения на территории нынешней Мексики.

17 ... призывали на свои свадьбы Таласио. - Таласио (Талассий) - бог свадьбы у римлян.

18 ... вы не питаете особой склонности к афинскому сеньору Гименею... - Лопе де Вега здесь явно намекает на неудачное замужество своей возлюбленной Марты де Неварес Сантойо.

19 ... мнение величайшего из философов... - Лопе де Вега имеет в виду Платона.

ГУСМАН СМЕЛЫЙ

1 Цицерон устанавливает различие... - Сходное высказывание содержится у Цицерона в книге "О законах" (I, 48).

2 Коль небо справедливым воздаяньем... и т. д. - Вергилий. Энеида, песнь I, ст. 603-605.

3 ...римский сатирик... - Имеется в виду Ювенал, сатира X, ст. 132-142, откуда Лопе де Вега цитирует две последние строки в довольно точном переводе.

4 Федр - известный римский баснописец (I в. н. э.). Мы решились здесь поставить его имя вместо значащегося во всех испанских изданиях совершенно непонятого "Фаэри", возникшего, видимо, в результате описки автора или опечатки в первом издании, в дальнейшем повторявшейся автоматически.

5 ... напечатавшим в Неаполе книгу "Примеров"... - Диего Росель де Фуэнльяна - незначительный испанский писатель, живший и печатавшийся в Неаполе в конце XVI-начале XVII в. Его книга, точное название которой "Часть первая примеров и трансформаций...", вышла в Неаполе в 1613 г.

6 Алонсо Перес де Гусман (1258-1309) - испанский военный и политический деятель, особенно прославившийся обороной крепости Тарифа от мавров. Он отказался сдать крепость, несмотря на то, что мавры угрожали в противном случае убить оказавшегося у них в плену сына Гусмана. Этот подвиг воспет во многих произведениях испанской литературы.

7 ... гарамантского... - Гараманты - народ, в древности обитавший в Северной Африке.

8 Селим - турецкий султан Селим II.

9 ... решил захватить остров Кипр. - Кипр был взят Селимом II.

10 ... вступил в Фамагусту... - Фамагуста - город на восточном берегу острова Кипр.

11 Негропонт - остров в Эгейском море, в древности - Эвбея.

12 Кандия - другое название Крита.

13 Катара - прежде итальянский, ныне же югославский город и порт на далматинском побережье (Котр).

14 Хуан Австрийский (1547-1578) - внебрачный сын императора Карла V; выдающийся военачальник, он командовал объединенными силами христианских государств в войне против Турции и выиграл знаменитую битву при Лепанто (1571).

15 ...дед и отец того, кто сегодня так счастливо венчает и награждает оружие и литературу. - Лопе де Вега делает льстивый намек на Гаспара де Гусмана, графа-герцога Оливареса (1587-1645), в то время всемогущего фаворита короля Филиппа IV.

16 Ни тщеславие, ни стяжательство нас не побуждают... - Отрывок из "Науки любви" Овидия, песнь III, ст. 541.

17 ...в знаменитой морской битве... - Имеется в виду морская битва при Лепанто, в которой был ранен Сервантес.

18 ... отослать вас к божественному Эррере... - Фернандо де Эррера (1534-1597) - известный испанский поэт, несколько раз описавший битву при Лепанто в стихах и прозе.

19 ... у Лукана, где он замечательно описывает подвиги Кассия Сцевы... - Кассий Сцева - центурион (командир отряда) римских воинов, отличившийся в битве между Юлием Цезарем и Помпеем. Его подвиги воспел Лукан (39-65), римский поэт, в поэме "О гражданской войне", песнь VI, ст. 257-259.

20 ...в мирных водах Архипелага... - Имеется в виду Греческий архипелаг, то есть группа островов в Эгейском море.

21 ... весом в четыре арробы... - Арроба - старинная испанская мера веса, равная примерно 4,5 кг.

22 ... сказал один старинный испанский поэт... - Лопе де Вега цитирует здесь, правда не совсем точно, отрывок из стихотворения поэта XV в. Иньиго Лопеса де Мендосы, маркиза Сантьяны. Это стихотворение входит в его сборник "Пословицы".

22 Херонимо де Айанса - известный в Испании XVI в. силач родом из Наварры.

24 ... в сонете на его смерть... - Лопе де Вега цитирует здесь собственное стихотворение.

25 Лукиан - римский сатирик (II в. н. э.).

26 ... под Дюренем... - Дюрен - город в Рейнской области. В 1543 г. он восстал против императора Карла V и был штурмом взят им.

27 ... между Рейном и Руром... - Рур (Roer или Rur) - восточный приток Мааса (или Мезы). Не смешивать с Руром (Ruhr), восточным притоком Рейна, омывающим область Рур.

28 ... пристать к Пеньону де Велес... - Пеньон де Велес - в те времена военный пост на острове Марокко.

26 ... походила на библейскую Сусанну... - Согласно библейской легенде, Сусанна, добродетельная супруга одного купца, отвергла гнусные домогательства двух старцев, подсматривавших за ней во время купания, и в отместку была обвинена ими в прелюбодеянии.

30 Мендосика - уменьшительная форма имени Мендоса.

31 ... историю Иосифа Прекрасного... - Согласно библейскому преданию, еврейский юноша Иосиф, проданный в рабство в Египет, понравился жене своего хозяина, которая пыталась соблазнить Иосифа. Он отверг ее домогательства, за что и был обвинен ею в покушении на ее честь.

32 ... в культивистской поэзии... - См. комментарий к новелле "Мученик чести" (прим. 11) и статью.

33 ...сказал о ней Овидий... - Лопе де Вега цитирует далее "Tristia", песнь VIII, ст. 15-16.

34 ... не вычитаете в "Сокровищнице кастильского языка"... - "Сокровищница кастильского языка" (изд. 1611 г.) - труд Себастьяна Коваррубиаса Ороско, весьма ценный источник изучения истории испанского языка.

35 ... губернатору Мелильи... - Мелилья - город на побережье Марокко.

36 ... из какого же романа взят этот мавр? - В XVI-XVII вв. в Испании не только получили развитие и имели большой успех так называемые "пограничные романсы", где мавры изображались как благородные рыцари, но и ряд повестей, рисующих блеск и великолепие жизни, - турниры, любовь, празднества, будто бы царившие в Гранаде незадолго до ее завоевания испанцами, в конце XV в. Наиболее популярная из таких повестей - "Гражданские войны в Гранаде" (1595-1604) Хинеса Переса де Иты, несомненно повлиявшая на нижеследующее в новелле описание поединка.

37 Я нашел у Лукана... - Лопе де Вега цитирует по памяти, причем неверно, седьмую книгу "Фарсалии" Лукана. Смысл соответствующего места у Лукана скорее противоположный.

38 ... описанный Софоклом подвиг Геркулеса... - Титана Антея, сына Геи (земли) и Посейдона (бога моря), делало непобедимым соприкосновение с матерью (землей), дававшее ему новые силы. Но Геркулес поднял его на воздух,

и гигант, сразу ослабевший, был побежден. Этот подвиг Геркулеса описывается многими античными авторами, но Софокл нигде о нем не говорит.

29 ... прославленный Миципсой... - Миципса, упоминаемый античными авторами сын нумидийского царя Массиниссы, унаследовавший престол отца в 149 г. до н. э.

40 ... трагедия Софонисбы. - Софонисба - дочь карфагенского полководца Гасдрубала, жена нумидийского царя Сифакса (III-II в. до н. э.), героиня трагической любовной истории.

41 ... ибо грех кровосмешения чрезвычайно тяжок... - Любовная связь женщины не только с родным братом, но и с братом мужа в старину считалась также кровосмешением (пример - история матери Гамлета).

42 Мы предавались на досуге чтенью... - Строки эти, имеющие вид цитаты из "Божественной комедии", - на самом деле сделанное Лопе краткое резюме соответствующего места у Данте (песнь V).

43 ... изобразил Альциат могущество этого ребенка... - Альциат (латинизированная форма имени Альчато) - итальянский ученый-юрист, оставивший после себя множество сочинений, в том числе сборник "Эмблемы" (1512), прославляющий могущество любви.

44 ... где Мансанарес летний... - Река Мансанарес, протекающая через Мадрид, весьма мелководна и летом пересыхает от зноя. Певец хочет сказать, что его слез хватило бы, чтобы сделать Мансанарес многоводным.

45 "Кого бог соединил, человек да не разлучит" - евангельский текст.

46 ... читавшим однажды вечером "Амадиса Галльского". - Об "Амадисе Галльском" см. комментарий к новелле "Приключения Дианы" (прим. 4). Эпизод, о котором идет далее речь, рассказан в 5 главе II книги "Амадиса".

47 ... прочитав "Пастуха Галатеи"... - Пасторального романа под точно таким названием в Испании не было. Видимо, Лопе здесь делает несколько замаскированный выпад против романа Сервантеса "Галатея", первая часть которого была напечатана в 1585 г., а вторая, много раз обещанная автором, так и не была написана.

48 ... ярость оружия и тревога словесности. - Лопе де Вега, воюя против культизма, тем не менее иногда сам отдавал ему дань. В этой фразе Лопе де Вега хочет сказать: пылая ревностью, дворянин хватается за шпагу, грамотей - за перо (чтобы излить свои чувства).

49 "Лавр Аполлона" - книга Лопе де Беги, опубликованная в 1630 г.; это - большая дидактическая поэма, дающая обзор литературы Испании того времени.

50 Эспинела - десятистишие, честь разработки типа рифмовки и строфики которого приписывают испанскому писателю Висенте Эспинелю (1551-1634).

Несколькими строками ниже Лопе де Вега называет Эспинеля маэстро, потому что тот был известен также и как композитор и музыкант. В сочиненной им эспинеле Лопе де Вега язвительно упоминает своих поэтических противников - поэтов Луиса де Гонгору и Франсиско де Борху, сторонников культистской поэзии; здесь же он чуть-чуть иронически сравнивает свою возлюбленную Марту де Неварес, которую он воспевал под именем Марсии-Леонарды, с Венерой. Остальные намеки, содержащиеся в эспинеле, расшифровать затруднительно.

51 ... некоторые строфы называют сапфическими в честь Сапфо. - Сапфо (Сафо) - древнегреческая поэтесса VII-VI вв. до н. э.; сапфической строфой называется строфа с разностопными стихами, введенная Сапфо в греческую поэзию.

А.А. Смирнов